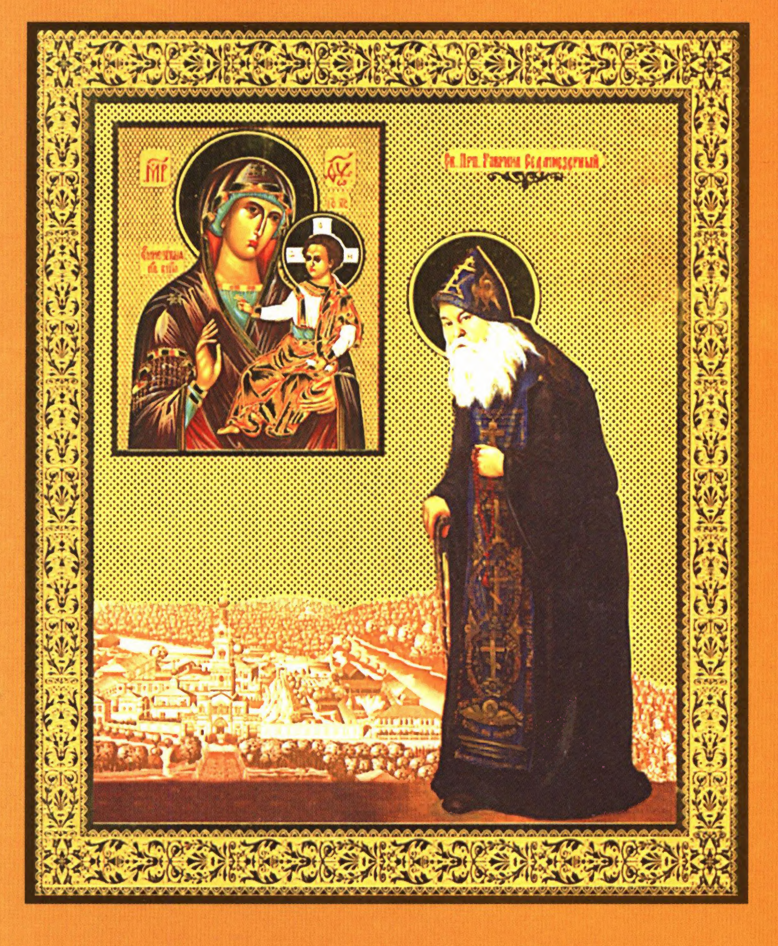


Един от древних
Преподобный старец
Гавриил

Архимандрит Симеон (Холмогоров)

Един от древних

Преподобный старец Гавриил (Зырянов)

Жизнеописание. Прославление. Акафист

Санкт-Петербург
Контраст
2012

Рекомендовано к публикации
Издательским Советом Русской Православной Церкви
ИС 12-120-2067

УДК 25/253
ББК 86.372

Архимандрит Симеон (Холмогоров). **Един от древних. Преподобный старец Гавриил (Зырянов). Жизнеописание. Прославление. Акафист** – СПб.: Контраст, 2012. – 288 с., ил.

ISBN 978-5-98361-158-0

Жизнь старца Гавриила (Зырянова) — исключительное явление в русской духовной жизни рубежа веков. В ней, словно в зеркале, отразились духовные искания многих русских богоискателей и духоносцев — кратко сказать, всего русского боголюбивого народа. И сама личность духовного старца — воистину «единого от древних», духовного исполина — наполнена не только исключительными подвигами, но и терпеливым, богопреданным несением креста скорбей, постоянной людской злобы и собственной немощи с истинно русской кротостью и смирением. С каждой страницы жития старца веет на читателя дивная непередаваемая теплота подлинной христианской любви, завоеванной в тяжком повседневном целожизненном подвиге.

УДК 25/253
ББК 86.372

ISBN 978-5-98361-158-0

Предисловие

Преподобный Гавриил (Гавриил Федорович Зырянов) родился 14 марта 1844 года в семье пермских крестьян. 13 августа 1864 года он поступает послушником в Оптину пустынь, окормляется у преподобного Амвросия. В 1874 году послушник Гавриил, обойденный в Оптиной постригом, перебирается в Москву, в Высоко-Петровский монастырь, и становится его экономом. 13 августа 1876 года пострижен в монашество с именем Тихон. 20 февраля 1877 года рукоположен во иеродиакона. В 1880 году, утомленный завистью и неприязненным отношением братии, переводится в московский Богоявленский монастырь, в 1881 году — в Раифскую пустынь Казанской епархии. 24 января 1883 года рукоположен во иеромонаха и назначен братским духовником, но уже осенью переведен в архиерейский дом г. Казани, а затем — в казанскую Седмиезерную Богородичную пустынь. В 1892–1898 годах прикован болезнью к постели; время напряженного духовного подвига и многократных благодатных посещений. 5 октября 1892 года пострижен в великую схиму с именем Гавриил.

После выздоровления во время служения литургии старец сподобился видения Небесной Евхаристии и стал созерцателем «тайны Христовой Жертвы за грехи людей». В 1901 году назначен наместником Седмиезерной пустыни, 9 июня 1902 году возведен в сан архимандрита. В 1908 году из-за доносов братии подает в отставку и уезжает в псковскую Спасо-Елеазарову пустынь. Пребывание в ней ознаменовано расцветом его старческого делания. В Спасо-Елеазаровской обители в полноте раскрылись старческие дарования отца Гавриила — народ нескончаемым потоком шел к нему за исцелением души и тела, за духоносным советом, утешением, вразумлением. В день старец порой принимал до 150 и более человек — так широко разнеслась слава о прозорливом молитвеннике и утешителе. Великая княгиня Елисавета Феодоровна часто навещала своего духовного отца в Елеазаровской пустыни, и он, в свою очередь, посещал устроенную ею Марфо-Мариинскую обитель.

24 августа 1915 года в связи с наступлением германских войск отец Гавриил уезжает в Казань, где ровно через месяц отходит ко Господу — 24 сентября 1915 года.

29 сентября похоронен в храме преподобного Евфимия Великого Седмиезерной пустыни. В 1997 году прославлен в лике местночтимых святых Казанской епархии.

В заключение нашего предисловия нелишним будет привести слова очевидца, имевшего счастье личного общения со старцем: «Кто хоть раз видел схиархимандрита Гавриила, тот не может не помнить маститого, убеленного сединами старца, его ясных голубых глаз и светлой улыбки на лице. При виде батюшки не чувствовалось никакой важности, ни строгости, свойственных лицу старца, да еще человека высокого роста и полного телосложения, каковым был почивший.

Старец Гавриил был весь — детская простота, всепрощающая любовь и ничем не возмутимая кротость. Любовь во всех ее чистых и святых проявлениях у человека — не свое, не от него: она есть дар Божий. Этот дар благодатной любви в изобилии излился от Духа Святого на отца Гавриила, и вот почему всем около него было так хорошо, так радостно, так уютно. Он, по верному слову одной его высокой посетительницы, умел утешать. И, однако же, в мягкости старца, в его любовном и снисходительном

отношении к людям отнюдь не было ничего лицемерного, деланного, искусственного. Все у него было так просто и свято, чисто и непосредственно, полно любви и назидания... В жизни старца Гавриила мы видим непосредственное ощущение Бога, зрение иного мира, знание душ человеческих и чужих мыслей, прозрение в будущее, даже проникновение отчасти в тайну смерти и за завесу ее в жизнь загробную, — по всему этому почивший старец — один от древних... И притом он жил так недавно, в наши дни и среди нас»...

О преподобном Гаврииле см.: Поучения и слова Иеросхимонаха Гавриила. Казань, 1900; *Архимандрит Симеон*. Схиархимандрит Гавриил, старец Спасо-Елеазаровой пустыни. Псков, 1915 (переиздания: Джорданвилль, 1964; СПб., 1996, СПб., 2011); Старец схиархимандрит Гавриил (Зырянов) и Седмиезерная Казанская Богородичная пустынь. М., 1991; *Архимандрит Симеон (Холмогоров)*. Един от древних. Повесть о жизни и подвигах схиархимандрита Гавриила (Зырянова). М., 1996 (дополненное переиздание вышеназванной книги архим. Симеона); *Епископ Варнава (Беляев)*. Тернистым путем к небу: (Per aspera ad astra).

О многоплачевной и зело поучительной жизни старца Седмиезерной и Спасо-Елеазаровой пустынь схиархимандрита о. Гавриила / Составитель *П. Г. Проценко.* М., 1996; Житие преподобного Гавриила, старца Седмиозерной пустыни. М., 1997.

Жизнеописание прп. Гавриила Спасо-Елеазаровского [1]

Детство в благочестивой семье и первые подвиги

Родился будущий схиархимандрит Гавриил 14 марта 1844 года в семье зажиточных и благочестивых государственных крестьян Пермской губернии, Ирбитского уезда, Феодора и Евдокии Зыряновых. Родители его были грамотны, и потому в праздники, после возвращения из храма, что был в соседнем селе Бобровка, верстах в четырех, всегда заполняли день чтениями житий святых, Евангелия и Псалтири. И сам маленький Ганя (Гавриил), единственный сынок их, научился грамоте по Псалтири же от своих старших сестер Евгении и Анны (впоследствии монахинь Евстолии и Агнии). Эти чтения производили на всю семью сильнейшее впечатление: все воздыхали

---

[1] Публикуется сокращенный вариант с новым разделением на главы труда ученика прп. Гавриила архимандрита Симеона (Холмогорова) «Схиархимандрит Гавриил, старец Спасо-Елеазаровской пустыни», Псков, 1916. Архимандрит Симеон принял мученическую кончину в 1937 году.

о греховности своей жизни и загорались желанием подражать святой жизни угодников Божьих — по заповедям Христовым. Семья жила очень дружно, была трудолюбива и не знала недостатков. Дети видели только разумную ласку, не знали грубых наказаний. Единственным способом вразумления детей, кроме слова, их матушка избрала «жалобу» к Богу. Сам батюшка-старец об этом рассказывал так:

— Бывало, нашалишь, а матушка и скажет: «Ганя, не шали! Вот ты все не слушаешь — шалишь, а мне ответ надо за тебя отдать Богу... Ты своими шалостями грехи выращиваешь, потом и сам с ними не сладишь». А молодость берет свое: как ни удерживаюсь — опять и нашалю... Тут матушка, бывало, встанет на колени пред образами и начнет со слезами вслух жаловаться на меня Богу и молиться: «Господи! Вот я вымолила у Тебя сына, а он все шалит, не слушает меня. Что же мне с ним поделать?.. И сам погибнуть может, и меня погубить... Господи! Не оставь, вразуми его, чтоб не шалил!» И все в этом роде — молится вслух, плачет. А я стою возле — притихну, слушаю ее жалобы. Стыдно мне станет, да и матушку жалко. «Матушка, а матушка! Я больше

не буду...» — шепчу ей несмело. А она все просит Бога обо мне. Я опять обещаю не шалить; да и сам уж начну молиться рядом с матушкой.

Матушка была женщина духовная, даже и на детские шалости смотрела с такой точки зрения: грешно это или нет? Так и все в жизни она оценивала только с религиозной стороны: угодно ли Богу? Крепко верила она в промышление и попечение Божие о людях; жила этой верой и вся семья. Случалось ли единственному горячо любимому сыну Гане заболеть — о нем прежде всего молились Богу. Если не выздоравливал Ганя — давался обет благочестивый, и ребенок начинал поправляться. Так как мальчик Ганя родился слабеньким и часто болел, то и обетов дано было много: и в церковь ходить ежепразднично, и милостыню подавать, и мяса не есть, и домашние моления совершать, и супружеские отношения прекратить и т. д. Чрез это жизнь семьи Зыряновых стала совершенно особенной, полумонашеской; она выделялась даже наружно из ряда прочих крестьян, и потому вызвала сначала подозрения, а потом и судебную клевету со стороны родного их дяди и приходского священника.

Следствие окончилось, конечно, в их пользу.

Благочестие родителей передавалось и усвоялось в сугубой степени восприимчивой душой детей. Они тоже непоколебимо верили в Бога, ярко чувствовали Его любовь и попечение. Вот ряд случаев, рисующих настроение Гани — дитяти, отрока и юноши.

Еще трех-четырехлетним ребенком взяли родители Ганю в первый раз к пасхальной утрене. Картина торжественного богослужения в сельском храме, веселый звон, зажженная люстра, непрестающее пение, масса народа с зажженными свечами, радостные у всех лица и дружное ответное восклицание народа на приветствие священника: «Воистину воскресе!» — все это так глубоко запечатлелось в сердце и памяти Гани, что он не переставал спрашивать у своей матушки:

— А скоро опять будут стоять со свечами? А когда народ будет кричать «Воистину воскресе»?

— Через год, Ганя.

Долго показалось ждать мальчику... И вот он захотел сам себе устроить Пасху: ушел в подклеть, сел на окно и, прижавшись личиком к стеклу, стал рисовать в своем

воображении пасхальную утреню. Вот священник в ярком облачении, вот масса горящих свечей, люстра!

Но что это? Что это?.. На небе вдруг появилась воздушная люстра, полная движущихся огней, и как бы спустилась ближе к Гане; какой-то неизреченный свет столбами переходил с места на место, и кругом — радуги, образующие подобие креста.

Ганя весь замер, прильнул к стеклу и смотрит, смотрит... Чудная картина! Это даже лучше, чем тогда в приходском храме! И вдруг — голос:

— Ты — Мой!

— Чей это? — недоумевает Ганя.

— *Божий!* — и одновременно видение исчезло.

Опять обычное небо, облака, та же подклеть... А мать уже кличет своего любимца:

— Ганя! Ганютка! Куда ты запропал? Иди обедать!

Пришел Ганя в избу, и не сидится ему от радостного волнения — так и прыгает на одной ножке, и все твердит:

— Я не ваш, я не ваш!

— Господи! Да что с ним сделалось? — тревожится мать и спрашивает:

— А чей же?

— Я — Богов, Богов! — и опять прыгает кругом со своим «я не ваш».

Прошло лет десять. Ганя подрос. У него свои салазки, но нет горы, чтобы кататься. А на деревенскую гору матушка его не отпускает: еще наслушается, насмотрится мальчик чего-либо вредного!

Настал Великий пост; идет строгая в деревне первая седмица. Никого нет из деревенской молодежи на ледяной горе. Вот Ганя и надумал покататься.

Теперь можно — решил он. Пошел — и родителей не спросил. Но только покатился — сразу налетел на палку, которой был загорожен ледяной скат горы, чтоб не катались. А на палке той торчал старый гвоздь. Ганя как наскочил со всего размаху на эту палку — сразу вылетел, да ногой о гвоздь... Пропорол себе штанишки и новые валеночки. Кровь бежит... Мальчик и боли не чувствует: очень уж испугался за свое непослушание и за валеночки.

— Что тятенька с матушкой теперь скажут? Скорее домой!

Забрался на сенник и давай молиться святому праведному Симеону, чудотворцу Верхотурскому (весьма почитаемому по Приуралью и всей Сибири). Молился

жарко, со слезами: уж и каялся-то, что без благословения родителей ушел, и исправиться-то обещал, и наконец дал обет угоднику:

— Непременно пешком схожу к твоим мощам (280 верст), только ты исцели меня, непременно исцели!

Даже уснул от усталости — так намолился...

И вот во сне видит: подходит к нему муж удивительно благообразный. Лицо строгое, но и приветливое. На нем бедный сермяжный балахон, но чистый-чистый и такой урядливый, будто ниточка к ниточке прилажена. Спрашивает Ганю:

— Зачем ты меня звал?

Ганя во сне отвечает:

— Исцели меня, угодник Божий!

— А обещание исполнишь — в Верхотурье сходишь?

— Схожу, непременно схожу! Только ты исцели меня, угодник Божий! Пожалуйста, исцели!

Праведный Симеон прикоснулся к ноге, провел по ране и удалился.

Ганя проснулся от страшного зуда в ноге. Машинально протянул руку — почесать, но тут пришел окончательно в себя и ужаснулся:

рана зажила, а при чесании с нее сошел как бы сухой струп, под которым видна была уже молодая розовая кожица.

Пал Ганя на колени и со страхом и радостью стал благодарить верхотурского чудотворца. От родителей он скрыл это событие.

Прошло несколько лет. Ганя все собирается в Верхотурье, к прав. Симеону. Наконец вышел удобный случай: собралась большая партия богомольцев из деревни Фроловой на поклонение прав. Симеону. Ганю тоже отпустили с сестрами.

В ночь накануне выхода Ганя во сне видит какую-то дорогу; мелькают пред ним деревни, села, реки, леса; он стремится все дальше, дальше, но не знает — куда и что это за путь?.. Когда же пошли на другой день, Ганя начал узнавать во всех попутных деревнях, лесах и реках все то, что видел во сне: знакомая дорога!

В Верхотурье говели, приобщились и на седьмой день собрались уходить. Ганя неспокоен: у него в кармане лежат новые медные пятачки, а подать их некому — нет того дивного странника, которого он повстречал при входе в город Верхотурье и который был так похож на явившегося ему во сне

исцелителя. И вдруг, когда уже не было надежды его увидеть, этот дивный странник тоже встал возле Гани: стоит на коленях, смотрит на него и, протягивая руку, тихо говорит:

— Монах будешь! Схимник будешь! — и еще, показалось Гане, прибавил: — Здесь будешь!

А Ганя тем временем спешит — торопливо вынимает из кармана новенькие пятачки и кладет их в руку странника. Странник быстро смешался с толпой и скрылся.

Пророчество дивного странника сбылось: Ганя стал и монахом, и схимником. Но что означали слова «здесь будешь» — об этом и сам батюшка-старец не любил говорить, уклонялся.

Юность в родительском доме и проявление духовных дарований

Прошло еще года два-три. Ганя уже стал юношей, усердно помогал отцу в обширном сельском хозяйстве, но у него мало силы физической. Родные объясняли это тем, что семья Зыряновых не ест мяса, и убеждали кормить Ганю мясом.

Но Ганя больше верит в силу Божию, чем в мясо; он убежден, что Господь и без нарушения поста может сделать его сильным. И вот Ганя начинает молиться своему Ангелу — Архистратигу Гавриилу, и всем вообще Небесным Силам об укреплении его физических сил.

Прошло лет пять. Ганя все не перестает молиться, а видимого результата нет. Но вот однажды Гане поручили нарубить дров из длинных жердей. Он с утра отправился на работу, и тут-то стал с удивлением замечать, как легко ему удается одним взмахом топора сразу перерубать довольно толстые жерди. Вот пора уже обедать, а Ганя с воодушевлением все рубит, рубит. Отец и мать удивляются, даже с испугом смотрят на мощные удары Гани, а Гане — хоть бы что! Так весь лес и изрубил!

С этого времени физические силы Гани стали развиваться, и, как сам батюшка говаривал, впоследствии он был так силен, что двухпудовую гирю мог ногой перебросить через амбар, а шесть человек не могли его с места сдвинуть.

Из этого случая Ганя увидел, что все можно от Бога получить, и что «не в силе Бог, а в правде». Да и родители Гани, особенно

матушка его, старались внушать благоговейное отношение к таким милостям Божиим. Ганя поэтому все силы употреблял, чтобы жить свято и угождать благодеющему Господу. Бывало, поедет на несколько дней пахать дальние поля, да в первый же день и раздаст нищим всю еду, какую матушка ему положит. Пашет, а сам молится; потом сильнейший голод вынуждал его есть разные травы и даже землю. Кажется, землей-то старец и испортил свой желудок на всю жизнь.

В это же время у Гани стала открываться удивительная способность видеть и слышать все происходящее на дальних расстояниях или знать, что думают другие. Матушка его сильно была встревожена этим и умоляла сына не вдаваться в веру этим своеобразным откровениям, опасаясь, как бы Ганя не впал в прелесть от беса.

Уже впоследствии старец понял, что эта способность зреть сокровенное является у человека только при чистоте сердца. Когда, будучи уже иеросхимонахом, он тоже воспринимал мысли человеческие как явный разговор или видел совершающееся на расстоянии, или удостаивался зреть усопших и угодников Божьих, то с умилением говорил:

— Воистину справедливо слово Христово: «Блажены чистые сердцем, яко тии Бога узрят». И не только Бога узрят, но в Боге и вся сокровенная мира узрят...

Будучи же юношей, он действительно был так чист и целомудрен сердцем, что соблазны мира и плоти вовсе не интересовали его. Наоборот: все в жизни он воспринимал или как творение Божие, или совершающееся по воле Божьей, или попускаемое Богом. Всюду — Бог и рука Его. От этого, вероятно, до конца жизни своей сохранил он жизнерадостность, детскую простоту и ту целомудренную, остроумную шутливость, при которой всем делалось легко и весело, и расходились насупленные брови. От этого же, несомненно, ум его был удивительно гибким, вдумчивым и практичным, и память поражала всех знавших старца. То, что было им прочитано хотя раз в годы юности и зрелости, он помнил буквально. Случались курьезы: напишет старец письмо кому-нибудь, и вот получивший недоумевает: откуда у старца такой витийный слог, такая правильность речи? Оказывается, это само собой, незаметно для самого старца, написалось прочитанное лет 30–40 назад то у митрополита Платона, то у свт. Тихона Задонского и т. п.

Само собой разумеется, что богато одаренный и высоко настроенный юноша не удовлетворялся обычной мирской, хотя и благочестивой жизнью в семье. Сердце его искало высшего подвига для Бога; однако стремление в монастырь было еще смутно и неопределенно. Последним толчком к решимости оставить мир послужило следующее дивное событие.

Было лето, уже колосилась пшеница. Но случилась в деревне Фроловой сильнейшая гроза с бурею и градом, и богатого урожая — как не бывало: градом и ветром все смяло, прибило, спутало. Крестьяне в отчаянии. Ожидать поправки хлеба — невозможно; сеять новый — не время; решили подождать несколько и скосить побитую пшеницу просто на солому.

У Гани сердце сжимается: пропали тяжелые, святые труды! И возникает невольный, боязливый вопрос: «Для чего это бедствие? Как Бог допустил его? Разве Он, Всеблагой, не мог удержать тучу? — Мог! Но тогда что же: благ Господь, или... или?» Искуситель подсказывает ему: «Или вовсе нет Бога?»

Но Ганя не может произнести богохульного слова и мучится безвыходностью

мысли, попавшей в тупик между верой и печальным фактом.

Проходит день, два. Ганя и молиться не может. Сомнение мучительное, тяжелое разрослось и совсем придавило его.

— Есть Бог или нет Бога?..

В такой безвыходности он решается на страшно дерзновенное дело: спросить об этом у Самого Бога.

Воспользовавшись необходимостью исполнить какую-то полевую работу, Ганя уходит несколько в сторону от отца. Тут у него любимая полянка, где он часто тайно молился. Привязал свою лошадку и опустился на колени.

Как начать? Как сказать Богу свою мысль? Страшно! Ум и слово сковываются... Стал вспоминать:

— Ты, Господи, благ и преблаг! Ты являл милость Твою Израилю, пророкам, апостолам, мученикам.

Вспомнил о манне в пустыне, о воде из камня и т. д.

— Яви же, Боже мой, и ныне вечную милость Твою: пусть будет пшеница!

Смирился, припал к земле, весь затих и в глубине духа, как бы без слов, с замирающем трепетом прибавил:

— ...Если Ты есть!

И в этот же момент то ли гром ударил, в котором послышался голос, то ли просто громоподобный голос сказал:

— Будет пшеница!

Ганя упал, через некоторое время очнулся. И первая мысль:

— Есть Бог! есть Бог!

Трепетная радость, переходящая в благоговейнейшую благодарность, наполняла сердце; и ясное небо с сияющим солнцем, и лошадка, щиплющая травку, — все вторило этой радости, и весь мир предстал в новом ярком понимании: «Есть Бог! Господня есть земля и исполнение ея!» Такое чувство, будто побывал на небе...

В это время подходит отец:

— Ты что такой бледный? Нездоровится?

— Да... Что-то не по себе.

— Так иди домой, а я и один здесь управлюсь.

Прошло малое время, и фроловские крестьяне начали косить свою побитую пшеницу. Хотел и Феодор Зырянов косить, да Ганя не советует, все просит родителя подождать хоть с недельку.

— Это почему?

— Да может быть, Господь еще даст поправку пшенице.

Прошла неделя. По ночам стали выпадать мельчайшие, как из сита, дождички, а днем — жара. Пшеница на зыряновской полосе стала расти, набухать. Отец уже решительно заявляет:

— Пора косить! А то и зерна не дождемся, и соломы лишимся.

Ганя умоляет подождать.

— Да чего ждать-то? Ведь осень близко!

— Тятенька, подождите! Господь пошлет пшеницу.

— Да ты что: пророк, что ли? Ведь кругом чужой скот пущен — весь хлеб вытравят.

— Мы караулить будем.

— Ну смотри у меня, пророк! Шкуру сдеру, коли пшеницы не будет!

А дожди перепадают, днем жара стоит. Ганя ходит на полосу, с благоговением наблюдает, как приподнимаются примятые колосья, как они жиреют и какие длинные — многозерные. Смотреть радостно. Однодеревенцы завидуют, жалеют — зачем свою пшеницу скосили? И уж сам Феодор Зырянов ходит по своей ожившей полосе — такой притихший: Гане ничего не говорит, а отвернется в сторону — слезу утирает...

А потом уж и без шапки по полосе ходил: «Божья!»

Солнце пекло, пекло, да жатву приготовило. Созвали Зыряновы помочь — мало чуть не всю деревню, и с тихой радостью сжали богоданную пшеницу. Солома в рост человека, и снопов столько, что сплошь устлали ими всю полосу — и не пройти. А когда вымолотили зерно да стали в амбар ссыпать, и дверей не запереть... Взяли заколотили двери, разобрали крышу и, как в ящик, насыпали амбар полнешенек. Вся семья в тихих слезах переживает это чудо милости Божьей. В словах, в движениях, на лицах чувствуется что-то новое, святое, будто от Причастия вернулись. И тут Ганя заговорил о монастыре. Матушка, сестры в слезы ударились. Отец насупился и как отрезал:

— Не пущу!

Жаль было ему родительницу-жену, которая души не чаяла в своем Гане, да и самому невмоготу было представить свою старость без такого кроткого, необычайного сына-кормильца.

Но Ганя не унимается. Пройдет немного времени — он опять за свое: «Благословите в монастырь!»

С год минуло времени. Уже Ганя многое в своей жизни перестроил на монашеский лад, а отец все не отпускает, и наконец пришел почему-то в такое раздражение из-за этой просьбы, что вместо всякого ответа сходил во двор, принес ремень, схватил Ганю за волосы, сунул его голову промеж колен и давай хлестать. Матушка даже руками закрылась — не дышит, сестры заревели в голос.

— Цыц вы!

Все притихли, а в воздухе слышны лишь свист ремня да пыхтенье отца... А Ганя?.. Ганя спокойно ощущает удары по спине, но ему не больно. Это поразило его мысль, и он тотчас же решает:

— Значит, это воля Божья, чтоб я просился в монастырь!

И только что вспотевший отец бросил ремень и выпустил сына — Ганя со спокойным и светлым лицом поклонился отцу в ноги:

— Благословите меня, тятенька, в монастырь!

В голос заревел отец. В самое сердце сразил его Ганя своею кротостью.

— На кого же ты нас оставляешь? Я уж старею, мать болезненна; кто же нас прокормит?..

— Не бойтесь, батюшка — Господь не оставит!

И нечего возразить отцу при виде пшеницы... А Ганя все убеждает и убеждает, что они доброе дело совершат, все равно как свечку Богу поставят за себя.

Согласились родители. Потихоньку стали подготовлять нужное из одежи и белья, а отец за паспортом в волость съездил. Все справили как следует, только денег на дорогу не дает Феодор... Да ничего: Гане и не нужно!

Тем временем об уходе сына Зыряновых проведали все родственники и знакомые. Стали к ним приходить — прощаться, просят за них помолиться, а кто и деньжонок маленько даст.

В назначенный день помолились Богу, Ганя всем и каждому поклонился в ноги, попрощался со всеми, даже лошадками и коровушками — так и те слезы лили, особенно любимые лошади. А про людей что и говорить! Отец замертво повалился и его понесли на руках. А мать, сестры и вся деревня за околицу проводили и всю дороженьку слезами полили.

Ганя бодро едет. Скорбно расставаться с местом стольких радостей и великих

милостей от Бога, но он идет Богу служить! И потому у него скорбь смешана с торжественной серьезностью. В душе он — уже монах, не принадлежащий миру сему.

Оптина пустынь. Послушание у прп. Амвросия и прп. Илариона

Путь до Оптиной пустыни потребовал почти полтора месяца, так как немалая его часть была совершена пешком. В Оптину Гавриил пришел 13 августа 1864 года и почти тотчас отправился на благословение к достоблаженным старцам иеросхимонахам Амвросию и Илариону. Они были известны святостью своей жизни даже и в глухих углах Пермской губернии, а чем ближе Ганя подходил к Оптиной, тем больше узнавал из разговоров со встречными паломниками о духовной рассудительности и прозорливости сих старцев. Дух его загорался, сердце радостно трепетало в благоговейном предощущении желанной встречи с ними. Ведь это носители Духа Божия, земные Ангелы и небесные человеки!

И вот, наконец, Ганя у отца Амвросия и отца Илариона. Оба старца приветливо

приняли юного дальнего странника и, как сговорились, направили его к настоятелю — игумену Исаакию, но посоветовали прежде поговеть и приобщиться. Ганя так и сделал: начал ходить ко всем службам.

Оптина пустынь в то время славилась благолепием своих церковных служб и дивным пением «на подобны». После сельского храма и пения дьячка — разница громадная; да еще подошел праздник Успения Божией Матери, когда пение стихир и канона увлекало и самих оптинских певцов... Ганя все забыл и чувствовал себя, как на небе. С величайшим благоговением причастился Святых Христовых Таин, и затем в чувстве умиления снова сходил к старцам на благословение и от них к отцу Исаакию. Старцы и настоятель приняли его в число братии; отец Исаакий тут же назначил и послушание Гане — в хлебную, и при этом прибавил:

— Это послушание в хлебной проходил и я. Послушание у нас — те же курсы, которые изучают в академиях. И у нас своя академия... Там сдают экзамены профессорам, а здесь старцам. Вот я уже настоятель и игумен, а все еще учусь, и хожу часто — не менее раза в неделю, сдаю экзамены старцу

и принимаю себе уроки от старца... Вот и ты ходи к нему почаще, советуйся с ним по внешнему послушанию — в деле, и по внутреннему движению своих помыслов. Эти помыслы иногда бывают домашними врагами нашими. Нужно открывать их: какие движения, где они заседают, как с ними поступать лучше — с этой поганой ратью. А старец, как опытный генерал, и научит тебя, как и чем удалить от себя этих врагов и чем хотя бы ослабить силу их. Ослабить их силу можешь только по совету старца... А сам собой не сможешь никогда. Бес вперед знает, где для него опасность; он и будет устроять из тебя баррикаду, мишень, ставить тебя спиной к старцу, чтобы ты более был обращен к бесу — слушал бесовские помыслы, внушаемые тебе, а не слова старцева назидания. Слушай же это назидание старцево! Слова его тебе — как дождь на руно, в сердце твое снидут. А для беса это стрелы и раны ему. Вы вместе со старцем воюйте против беса и его полчища. Так, ты теперь, от сего времени, воин Христов, и ты не один, а с тобой старец. Воюй же и томи томящего тя, да Христа приобретешь, как Апостол Павел говорит: «*Не я живу, но живет во мне Христос*». Вот

как они жили!.. А ведь такие же они были люди, как и мы.

Заплакал Ганя от умиления. Отец Исаакий заметил его слезы.

— Видишь, вот ты и заплакал! Всегда помни день своего поступления и будь таким же, как теперь. Живи так — и спасешься...

Пал Ганя ему в ноги, принял благословение и шел не чуя ног под собой, при этом плакал так сладко, будто в раю побывал. Сердце его было пленено словами и обращением старцев и отца игумена; казалось, с их словами проникла какая-то благодатная сила в душу его и наполняла ее сладостным ощущением близости Христовой.

— «Не я живу, а живет во мне Христос», — повторял Ганя слова отца Исаакия. — Это залог мой и в будущей жизни моей!

А слезы текут-текут... Но как радостно, как сладко плакать такими святыми слезами!

Вот новоначальный брат Гавриил и на первом своем послушании — в хлебной! В монастырях это послушание считается самым трудным и беспокойным, и потому оно является как бы своего рода пробным камнем для испытания послушника. Тут требуется не только хорошая физическая сила и здоровье, но и вообще терпение — основная

добродетель евангельская (*«В терпении вашем стяжайте души ваши»*). В хлебной работа пыльная, притом в постоянном жару и поту. Но брат Гавриил проходил свое послушание и на трудности внешние не обращал внимания.

— Ведь я — монах! Значит, должен идти путем самоотвержения — отвергнуть себя и не иметь никакой любви к телу и ничего общего с ним, и презирать все хотения его. Надо проходить все ужасы и переносить их!

В Оптиной пустыни брату Гавриилу надо было вставать в два часа ночи — к утрене. Вместе с другими послушниками он стоял в церкви до кафизм; а как начнут читать кафизмы — все девять хлебников, в том числе и брат Гавриил, уходили месить хлебы, и пока тесто «подходило», ложились по лавкам и отдыхали. Потом сажали хлебы в печь и тотчас растворяли новую опару. Как только вынимали из печи первые хлебы — принимались месить вторые, и, дожидаясь их «подхода», пили чай. Затем разделывали по формам, садили в печи, разводили в третий раз опару. А пока хлебы в печи, шли в трапезу и обедали. После обеда можно было отдохнуть, но не более получаса: нужно было вынимать вторые хлебы,

разделывать по формам третьи и сажать их в печь. Уже тут только уходили в свои кельи на несколько часов (приблизительно — на пять), и пользовались этим временем по своему усмотрению. Затем снова собирались в хлебную и вынимали хлебы; а в семь часов вечера ходили на правило и к старцу в скит, и оттуда возвращались к девяти часам опять делать «постанов» к следующему дню. Таким образом выпекалось три раза по 25 пудов, всего — 75 пудов в сутки.

Но брату Гавриилу кроме того было поручено еще ходить ежедневно к ранней обедне — петь на правом клиросе, а в праздники и в воскресенья — петь в соборе на левом клиросе и звонить в один большой колокол.

Трудов было много, свободного времени мало. В таком положении многие из новоначальных начинают скучать, унывать и даже роптать на монастырские порядки. До поступления в монастырь им нередко представляется, что монахи только молятся, и потому сами, «готовясь» к монашеству, еще загодя в миру начинают отказываться от работы, живут якобы уже «не от мира сего» и принимают на себя самочинные подвиги, которыми и услаждаются невольно. В - такой своеобразной прелести жить в миру,

конечно, легче, нежели в монастыре, где требуются и труды, и подчинение воли настоятелю и старцам. Еще труднее тем, кто в миру приобрел пристрастие к мясу, водке, легкомысленному поведению. Для таковых скоро наступает утомление и разочарование в себе, ибо видят себя по поступлении в монастырь как бы позади других, отставшими; да и враг не дремлет — нагоняет дух уныния. В то же время прежние страсти начинают требовать себе удовлетворения и смущают послушника немонашескими помыслами. Ему бы следовало все свое состояние открыть старцу, но ложный стыд удерживает его, и потому послушник мучается в бесплодной борьбе с собой и приходит в еще большее расстройство и уныние.

У брата Гавриила и было несколько именно таких товарищей по послушанию. И они охотнее открывали свои переживания ему, чем старцу, тем более что видели его всегда ровным, радостным и даже веселым, при одинаковых трудах с ними. Они знали, что секрет этой бодрости лежит в откровениях помыслов старцу и в советах его, и потому начали заказывать брату Гавриилу спросить старца и об их душевных муках.

А Ганя, памятуя наставление отца Исаакия, неопустительно ходил к старцу в скит, и если о себе нечего сказать, так просто, бывало, получит благословение для себя и для своих товарищей, да кстати и о борьбе их поговорит со старцем. При этом ему открывались обе стороны человеческой души: здоровая — святая, и болезненная — греховная, а старец указывал и врачевство духовное от греховного недуга, и уполномочивал брата Гавриила руководить его доверителями. Если и сам Гавриил чувствовал в себе какие греховные движения, тоже все нес к старцу и свободно открывал перед ним свое сердце.

Откровенность, простота и искренность были качествами, которые он воспитал еще в родительском дому, когда все свои мысли и чувства открывал родителям и от них получал советы. Эти советы и тогда были ему полезны, ибо родители жили свято и во всем руководились Святым Евангелием, примерами и наставлениями угодников Божьих. Еще тогда эти советы помогли Гане сохранить себя от мирских пристрастий и увлечений; поэтому и в монастыре ему легко было жить, легко открывать себя старцу, пред которым он благоговел, как и вся лучшая братия.

А беседы старца? Они были не только елеем на сердечные раны Гани, но открывали ему и источник святой жизни.

И эта жизнь в лице старцев — отца Амвросия, отца Исаакия, отца Илариона, отца Мелхиседека и других — была не в дали седых веков, а тут, у всех пред глазами, исполненная молитвенных трудов, блиставшая дарами Духа Божия — рассуждением, прозорливостью, исцелениями и чудесами.

Прибавьте к этим живым примерам еще бесчисленные рассказы о недавно (по тому времени) почивших старцах: отце Леониде (†1841), отце Макарии (†1860), отце Моисее (†1868), которые были еще более могучи духом и славны о Господе и заветами которых старалась жить вся Оптина пустынь.

Этим старцам подражали кто в чем мог, или кому что нравилось, конечно, с благословения и одобрении тоже старцев — позднейших.

Плоды послушания и искушения

И было то дивно, что при всем разнообразии времен, подвигов, характеров у всех была одна душа, одно сердце, и это

«одно», связующее всех древних и новых в один неразрывный святой союз, была любовь о Христе. Она привлекала к старцам всех и, как свет от света, зажигала ответную к ним любовь их учеников и духовных чад. Исполненная духом кротости и смирения, она делала старцев и игуменов оптинских не начальниками над вверенным им братством, а мудрыми строителями его духовного возрастания, всемерно помогающими каждому брату в его послушании советом, в скорбях — сочувствием, в искушениях — молитвою. Братия не видела ни в ком из них ни соблазна, ни разрушающего гнева, и потому батюшка Гавриил, уже сам будучи старцем, при воспоминании об Оптиной пустыни всегда говаривал:

— Да, мы чувствовали себя там как в среде святых, и ходили со страхом, как по земле святой... Я присматривался ко всем и видел: хотя были разные степени, но все они по духу были равны между собой; никто не был ни больше, ни меньше, а были все — одно: одна душа и одна воля — в Боге. Источник — Бог, а проводником, объединяющим и направляющим все силы братства, был старец. И этот евангельский «квас» любви Христовой заквашивал все «тесто» их.

Загораясь духом от таких примеров, и сам юный подвижник Гавриил стал стремиться к достижению любви благодатной.

— Кто как, а я взял себе что полегче, — скромно говаривал батюшка. — Кому пост, кому молитва, кому затвор по душе; а я облюбовал себе вот это (то есть любовь), — бывало, скажет он.

Любовь же, по апостолу, есть «*союз совершенства, царица добродетелей*». Ибо для этой благодатной любви требуются великое мужество, смирение, беспристрастие, разумение, рассудительность, благодатная чистота, целомудрие, вообще — житие по воле Божьей, из любви же к Богу и безо всякой корыстной цели; любовь ко всем — ради любви к Богу. Ведь недаром же апостол Павел сказал: «*Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы*» (1 Кор. 13, 1–3).

К этой любви благодатной влекли брата Гавриила и все прошлые воспоминания: о родителях и их святой жизни, о чудных видениях, исцелениях, чудесном урожае пшеницы, и более всего — голос Божий: «Ты — Мой!»

И он старался привить к себе любовь, влагая ее всюду: в трудах послушания, в молитве, в отношениях к братии и настоятелю. Но особенно дышало ею благоговейное его отношение к старцу. Тут душа его, все помыслы его, движения и намерения открывались старцу как любимому и любящему отцу-авве, который разъяснял ему все сплетения мыслей, указывал выход из искушений и предупреждал от будущих опасностей. Сердце брата Гавриила загоралось духовным умилением, и свет надежды на Божию помощь давал всегда ясную бодрящую цель для каждого дела, для каждого дня, в то же время связывая их в одну цель — стяжать любовь о Духе Святе.

А помощь действительно была близка. Всякое послушание спорилось, дело шло хорошо и обогащало брата Гавриила знаниями и опытом. Потому-то и было ему так радостно и легко жить в Оптиной; все для него было — Бог и любовь Божия!

Но вот постигло брата Гавриила испытание. По обязанности звонаря он в какой-то большой праздник поднялся на колокольню, а сам был потный после работы в хлебной. Его сильно там продуло. На другой же день открылся тиф. Кое-как эту болезнь прекратили, но вместо нее привязалась перемежающаяся лихорадка и мучила бедного Гавриила целых пять лет.

Весь он измучился, совершенно лишился аппетита и высох. Силы оставили его... В таком положении, почти без сна, тянулись длинные дни, месяцы, годы, и при этом тяжелые мысли мучили его хуже самой болезни. Ему казалось, что и поступление его в монастырь неугодно Богу, что и в монастыре он всем в тягость, и что даже себе не приносит никакой пользы.

— А все это — за то, что оставил престарелых родителей, — шептал ему помысел, — а они у тебя святые!

Не выдержал Гавриил, собрал остаток сил, взял палочку и, пользуясь послеобеденным временем, когда в Оптиной все отдыхают, кое-как побрел к старцу Амвросию поведать о себе... Ноги еле движутся, и не дойти бы ему, как вдруг бежит келейник отца Амвросия — отец Иоанн (впоследствии —

иеросхимонах отец Иосиф, скончавшийся 9 мая 1911 года), и уже издали приветливо кричит:

— Батюшка послал меня помочь тебе дойти!

Подхватил его под левую руку и довел до отца Амвросия. А старец увидел ковыляющего Гавриила и, смеясь, приветствует:

— Эй, милый беглец! Зачем ты не спросясь ушел?

— Батюшка, простите! Как мне не пойти и не сказать вам, батюшка? Вот я болею, никакой пользы обители не приношу; все лежу — лихорадка замучила... И думаю, что Богу неугодно мое поступление в обитель. Оскорбил я Бога и родителей своих оскорбил, а теперь и пользы не приношу никакой... Да еще за мной же ухаживают...

— А умрем — тоже не принесем никому пользы никакой! — говорит батюшка Амвросий. — Тут как быть?.. А Иов терпел? Терпел, брат, Моисей, терпел Елисей, терпел Илия — терплю теперь и я! Терпи и ты! А помыслов не слушай: они — от беса!

И немного погодя прибавил:

— Думается мне, что ты при поступлении в обитель не во всем раскаялся: оставил

грех — оставил и лазейку для бесовских помыслов.

Думает Гавриил, припоминает — ничего не вспомнит. Батюшка Амвросий как шлепнет его ладонью по лбу — а сам такой веселый!

— Ну, вылезай! — говорит.

И вспомнил Ганя, как еще дома в Страстной Четверг наговором над пояском и хлебом он достигал того, что их коровы сами, без пастуха, возвращались домой.

Он этого не считал за грех и не исповедовал. Слушая об этом наговоре, удивился и отец Амвросий, пошутил немного, пожурил, и все же наложил небольшую епитимью — на небольшое время по нескольку поклонов, да кстати благословил Гавриила — спокойно принять новое назначение на рыбные ловли (в 50-ти верстах от Оптиной) — на охрану пруда.

— Бог благословит: поезжай туда! За послушание Бог исцелит тебя. Поезжай с Богом!

Приняв благословение старца, Гавриил опять побрел в свою больницу. Отец Иоанн так же бережно помог ему пройти от скита до обители.

Едва вернулся Гавриил, лихорадка набросилась на него снова и, точно желая

отомстить за посещение старца, принялась трясти с ужасающей силой и без того уставшего страдальца. Зубы лязгали, все тело прыгало по койке в сильнейшем ознобе. И в это время входит казначей обители, отец Флавиан — большой постник и труженик — объявить Гавриилу о назначении его на рыбную ловлю, где у того же пруда стоял чугунно-литейный, так называемый «Митин», завод.

— Ты, братик, долго уж захирел... А мы надумали послать тебя на Митин завод, на рыбную ловлю.

Попытался было Гавриил сказать «благословите!» — да трясучка переделала по-своему:

— Блала-ла...го-го...сссло-о-вите, ба-ба-ба...тю-тю-шка-ка... — и осекся в изнеможении...

А отец Флавиан, при всей своей строгости в жизни, не выдержал — сам затрясся от внутреннего смеха и, усиливаясь сдержать себя, сказал:

— Хе-хе-хе... Вот еще искушение-то, братик! Прости ты меня, ради Господа!

Немного погодя явилась лошадь с телегой. На телегу уложили кое-какие вещи Гавриила и самого его посадили, одетого

в теплую шубу и шапку. А жара была страшная! Немудрено, что, когда косцы на лугу увидали трясущегося монаха в таком наряде, так и грянули со смеху, а их было человек 300!

На 7-й версте был монастырский хутор. Остановились для ночлега, тем более и пассажир был так слаб, что его пришлось на руках отнести прямо на постель. Однако ночь прошла спокойно, лихорадки не было. А утром явился даже аппетит. Закусили чем Бог послал и отправились дальше — на Митин завод, все на той же телеге.

Наконец прибыли на место, и единственный обитатель маленькой избушки-караулки, рясофорный послушник отец Владимир, встретил собрата радушно.

Незаметно прошла неделя их совместной жизни. Гавриил от свежего воздуха стал чувствовать себя немного лучше. Тут скоро из монастыря приехали еще трое послушников на двух телегах за рыбой к празднику; пригласили на помощь еще несколько человек из крестьян и наловили рыбы пудов сто. Часть отвезли в пустынь, а пудов 20 самой крупной рыбы посадили в огромные садки. С рыбой уехал в обитель и отец Владимир — поговеть.

Брат Гавриил остался теперь один сторожить рыбу в садках и в озере, один в незнакомом месте, среди чужих людей, и притом едва в силах ноги переставлять. Зато с ним был Бог и благословение старца.

По отъезде отца Владимира для брата Гавриила наступило время полного одиночества. Тишина и уединенность места еще более содействовали полному отрешению от мира и возвышению духа, тем более и тело, изможденное пятилетней болезнью, совершенно высохшее, похожее скорее на мертвеца и даже с запахом гнили, уже не препятствовало горению сердца в молитве и любви к Богу. «*Ведь пустынным непрестанное божественное желание бывает, мира сущим суетного кроме*» (Сущим вне суетного мира. Воскресный антифон 1-го гласа). А брат Гавриил даже и есть ничего не мог и не хотел, да и еды не было никакой. По Божию смотрению случилось так, что отец Владимир, уезжая в монастырь, не догадался осмотреть, какие запасы еды остаются для Гавриила, и самому Гавриилу не пришло на ум позаботиться об этом. А на деле вышло, что не осталось ничего совершенно: ни куска хлеба, ни круп.

На второй-третий день своего одиночества Гавриил как-то забрел на огород, бывший при хатке, и случайно взор его упал на редьку — громадную, крепкую. И безотчетно потянуло его поесть этой редьки. Ухватился он за нее — попробовал вытащить, да не тут-то было: лишь сам упал от слабости, а редька сидит крепко. Наконец догадался — выкопал железной лопатой, а редька — 10 вершков в длину, чистая, белая. Принес ее в хибарку и давай натирать да есть. Слезы бегут, пот катится градом, а Гавриил ест да ест. Так всю редьку сразу и съел — даже и без хлеба.

Уже во время еды он стал чувствовать, что из-под ложечки что-то отрывается и уходит вниз, отчего почувствовалось заметное облегчение, и наконец совершенно выделился огромный мочалообразный ком, мучивший и истощавший Гавриила столько времени. После этого брат Гавриил стал поправляться и свежеть, а аппетит на редьку все еще держался, и он ел ее ежедневно.

Неожиданно приехали к Гавриилу игумен Исаакий и старец Иларион. Гавриил очень обрадовался, с любовью принял благословение дорогих гостей. Поздоровавшись, отец игумен спросил Гавриила:

— Не скучаешь ли ты?

— Вашими святыми молитвами — нет, не скучаю.

И в то же мгновение вдруг вспомнил, что ведь надо угостить дорогих гостей, а нет ничего... и смутился, даже испугался.

Они тотчас заметили его смущение и, расспросив, с крайним удивлением узнали, что их ученик уже много дней живет только редькой да чтением духовных книг.

— Вот какая пища-то у него! — сказал старец, а отец игумен отвернулся и незаметно отирает слезы...

Тут уж и отец Иларион умилился до слез, и оба, с любовью благословив своего ученика-подвижника, уехали обратно.

Брат Гавриил остался опять один, но от внимания и благословения старца и отца игумена у него осталось чувство живительной радости, и опять, как при вступлении в обитель, он всем существом ярко чувствовал помощь Божию себе во всем и соприсутствие Божие — по слову Христову: *«Аз есмь с вами во все дни, до скончания века. Аминь».* И это внутреннее чувство яснее всяких внешних чудес укрепляло его веру в Бога и ревность в спасении.

Но как для дерева испытанием в крепости служит буря, так и для подвижника пробой

его твердости является искушение. Для молодого Гавриила оно явилось в отношении целомудрия.

Стояла большая жара, и заводские парни и девицы (с Митиного завода) то и дело купались в пруду и, вместе переплыв на эту сторону, почему-то обнаженные выходили на берег, а девицы даже подходили к самой избе и старались соблазнить молодого монаха.

Но молитвенное горение сердца сохранило Гавриила: он не почувствовал ни малейшего движения страстного помысла. Наоборот, испытывал отвращение и даже какое-то смущение: и в миру живя, он не видал подобного безобразия и бесстыдства... И сердце его было покойно.

Но враг, как бы мстя за поражение свое, создал для Гавриила новое затруднение. Пришли мужики просить у Гавриила монастырский невод. Гавриил отказал. И вот на другой день рано утром вдруг загорелась копна соломы у самой хибарки. Искры и дым душили Гавриила, и он выскочил из хибарки, успев захватить с собой только образ Знамения Богоматери. Крепко прижав его к груди, он безмолвно встал между горящей копной и хибаркой, лицом к огню,

и стоит... Вдруг на горящую копну налетел вихрь, закружил ее, поднял вверх — дочиста всю, и, как пламенное облако, понес по воздуху на соседнюю деревню.

Там поднялся крик, вой; все бегут в страхе, не зная, куда падет горящая копна. А она, покружившись, обрушилась на дом одного мужика, и вот все его постройки сразу запылали одним громадным костром. Увидав это, мужик закричал:

— Мой грех! Мой грех! Ко мне и пришел! — и со слезами всенародно каялся в своем мстительном поджоге.

Все у мужика сгорело: и постройка, и имущество, и много скота. Но при этом была такая тишина в воздухе, что дом горел, как свеча, и пожар на другие усадьбы не распространился.

Видя это, Гавриил все еще стоял в онемении и глазам не верил. Только что была смертельная опасность, и вот, заступлением Царицы Небесной, чудесно все исчезло, осталось только чисто-начисто выметенное место, где стояла горевшая копна.

— Что это, как не чудо милосердия Божия? — и опять с тихими слезами благодарности и радости переживал Гавриил истину

Христова слова: *«Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века».*

Пред праздником Преображения Христова брат Гавриил возвратился снова в пустынь. Он теперь хорошо поправился, имел свежий, здоровый вид и даже пополнел. С этого времени — как говаривал впоследствии сам батюшка-старец — он и стал приобретать полноту, доходившую до тучности; он очень тяготился ею, а иногда, впрочем, вышучивал ее:

— Есть где благодати разгуляться!

При этом он однажды прибавил:

— А все — за осуждение! Увидал я раз еще в Оптиной пустыни одного схимника: идет, толстый такой... Народ подходит к нему под благословение. А я — не то чтоб осудил, а так — просто подумал только с удивлением: «Вот так схимник!» — да и позабыл об этом. А потом, когда лежал больной пять лет лихорадкой, вижу раз во сне себя толстым-претолстым, таким, что ноги — как бревна, и от колен даже не сходятся между собой... А в то же время как бы голос какой-то говорит мне: «Если хочешь быть здоровым, то будешь вот таким». А я в каком-то ужасе и с неприятным чувством как бы воскликнул: «Господи! да что же это такое?..» —

и проснулся... Да вот и растолстел. Видишь — каким стал! Боюсь только: не соблазняются ли люди на мою толщину? — и поникнет головой.

А потом вдруг весело прибавит:

— Ну да это для моего смирения полезно.

По возвращении в Оптину пустынь брат Гавриил тотчас пошел на благословение к игумену Исаакию и к старцу Илариону и подробно им поведал обо всем происшедшем: о поведении заводской молодежи, о чудесном спасении от пожара и о своих чувствах при этом.

Оба они очень удивлялись и прославляли милость Царицы Небесной, а старец, кроме того, объяснил ему всю пользу послушания, ради которого Господь сотворил с ним тоже своего рода чудо — сохранил от запаления страсти душевную его хату.

От слов старца умилилось сердце Гавриила. Прошла, исчезла последняя тень и того смущения, которое он чувствовал от мирского бесстыдства возле обители. Свет благодати ярче прежнего осветил его душевную хату и расширил взгляд его на многообразие диавольских ухищрений.

Поговев, он уже с радостью готов был снова ехать на рыбную ловлю, но в это

время отец игумен переменил ему послушание — назначил в помощники погребничему отцу Дорофею: варить квасы, солить капусту, огурцы и грибы, хранить масло и т. п.

На первых же порах службы в погребе Гавриил почувствовал странное и непонятное влечение есть коровье масло, подобное прежнему влечению есть редьку. И он нет-нет да и возьмет, бывало, кусок масла. Казалось — так вкусно! Но брал масло без спроса и благословения старца; спросить же почему-то стыдился. Наконец решился рассказать ему о своем влечении есть масло.

Старец шутливо пожурил его — крадешь-де, но с улыбкой благословил есть сколько угодно. И вот с радостью бежит Гавриил обратно:

— Ну, — думает, — теперь-то уж я поем!

Пришел в погреб — и прямо к маслу. Берет кусок, ест — не нравится. Берет другой, — положительно невкусно...

— Странно... Что бы это значило? — недоумевает Гавриил, и опять идет к старцу со своим удивлением.

— Из слов твоих видно, — сказал ему старец, — что желание есть масло было

приражением бесовским: красть да есть потихоньку. Могло выйти для тебя что-нибудь нехорошее... А когда ты взял благословение есть масло — бес и отступил от тебя, отступила и страсть есть масло. Видишь ли, какой опасности миновал ты, и как полезно и необходимо все делать с благословения старца. Ведь старцу и дано послушание — охранять братию от нападения бесов силою Божией, а не своей...

Немало удивлялся Гавриил словам старца, и в то же время у него точно глаза открылись на бесовское ухищрение — завлекать человека в падение чрез собственные человеческие чувства и мысли, по-видимому, совершенно невинные и даже подобные прежним святым и полезным. С этого времени Гавриил стал еще более тщательно следить за собою и все свои помыслы и намерения открывал старцу. И при этом ему стало уже ясно, что когда человек чувствует пристрастие к чему-либо, то это есть уже прельщение бесовское, и человек тогда является пленником, рабом врага, лишенным свободы. Потому-то при открытии помыслов старцу и жилось Гавриилу весело, легко и свободно, хотя трудов — тяжелых и черных — по послушанию было очень много.

Из-за простуд на погребе перевели Гавриила опять в хлебную, потом в булочную, а через полгода — в просфорную, и, наконец, сам отец игумен взял его на так называемую «игуменскую кухню», хотя она собственно обслуживала всех богомольцев, в громадном количестве посещавших Оптину пустынь ради старцев. И здесь послушание для Гавриила было тяжелое и трудное — не только по трудам телесным, но и по условиям душевной жизни.

Поставили его «старшим» на кухне, где работали несколько наемных поваров, а Гавриил между тем не знал ни кулинарного искусства, ни даже специальных названий кухонных вещей и принадлежностей.

Конечно, повара сразу подметили это и стали поднимать своего «старшего» на смех. Гавриил же был доверчив и прост до наивности, так как дома был воспитан и приучен говорить и слышать только одну правду. На этом и попадался. Бывало, повара скажут ему:

— Иди к отцу Никандру — попроси «зашеину».

Гавриил спроста идет к старшему келейнику отца игумена и совершенно серьезно говорит ему:

— Батюшка отец Никандр, благословите мне зашеину!

Отец Никандр — Царство ему Небесное! — был не только добрейшей души человек, но и подвижник; он был родственник по крови и духу великому по святости и дару рассудительности настоятелю Оптиной пустыни — схиархимандриту Моисею; услышит он просьбу Гавриила о «зашеине» и даже зарумянится, улыбнется и скажет:

— Касатик, да ведь над тобой смеются! Озорники! Ты ведь просишь себе «зашеину» — то есть дать тебе по шее! Пойдем, касатик — я их проберу.

Вот приходит на кухню, а повара уже смеются. Однако отец Никандр, хотя и мягко, но внушительно, бывало, скажет им:

— Вы что это, озорники, озоруете?! Если видите, что брат Гавриил всему веру имеет, так это оттого, что он до вас никем не был еще обманут и слова лживого не слыхал. И вот, где же ложь? В обители! Как вам не стыдно! Да вам и самим не мешало бы иметь эту веру и простоту! Простота — не глупость, а признак высокой нравственности.

Стыдно станет поварам — краснеют. А Гавриил со слезами благодарности готов целовать руки своего милого, благодатного

защитника, и с еще большим доверием относится к нему и слушает всякое его слово. Однако и сам отец Никандр еще не знал всей простоты Гавриила. Говорит он раз:

— Касатик, свари-ка ты десяток яичек в мешочке.

И вот Гавриил ищет подходящий мешочек; но ничего не нашел, и потому решил оторвать рукав сорочки и в этом самодельном мешочке сварил яйца вкрутую. Приходит отец Никандр, берет одно яйцо — крутое, разбивает другое — крутое!

— Касатик, да что ж ты не сварил в мешочке?

Гавриил краснеет:

— Простите, батюшка, я мешочка не нашел.

Догадался отец Никандр, в чем дело, смеется добрым смехом и участливо объясняет своему любимцу, что значит этот «мешочек».

В другой раз вышла такая же история с варкой картофеля «в мундире»... Но отец Никандр уже сам наблюдал за Гавриилом и вовремя успел предупредить наивное недоумение Гавриила насчет «мундира». Смешливым поварам опять дан был урок:

— Чего вы смеетесь? Мундир надевают только на человека, а не на картофель.

На картофеле — кожица или скорлупа. Так и надо бы людям говорить: «Свари картофель в скорлупе». Вот касатик и прав! Ибо до его слуха еще не доходило извращенного слова.

Так и во всем отец Никандр был истинным Ангелом Хранителем для брата Гавриила, а Гавриил платил ему преданнейшей любовью и в задушевных беседах с отцом Никандром черпал для себя и утешение, и ободрение, и укрепление в святой жизни монашеской, тем более что отец Никандр и на деле являл пример святой любви и самоотречения. Нередко случалось: приезжали в глухую полночь новые богомольцы и просили поесть. Усталого Гавриила будили, и он безропотно принимался на кухне опять за то же дело. Жалел его отец Никандр и, бывало, вовсе не обязанный, сам на кухне помогал ему, старший младшему, по заповеди Христовой. Глухая ночь, а он, несмотря на страшную усталость, чистит картошку, готовит посуду — только бы успокоить собрата, утешить его в труде и словом, и какой-нибудь помощью. Эта самоотверженная любовь о Христе еще более соединяла их, и были они как бы родные братья, единым путем шедшие в Небесное отечество.

Но и при утешениях и сочувствии отца Никандра иногда на Гавриила все-таки нападали и тоска непонятная, и какая-то скука. Тогда было трудно молиться. И Гавриил, окончив вечером работу на кухне, выходил на монастырское кладбище — освежиться и отдохнуть. И вот среди памятников или где-нибудь на паперти храма не раз видал он какую-то скрывающуюся темную фигуру. Это был великий старец-затворник иеросхимонах Мелхиседек; он по ночам, скрываясь от людей, выходил для молитвы на кладбище. Гавриила он не боялся — сам выходил к нему навстречу и, не дожидаясь вопроса, начинал говорить ему такие благодатные речи, от которых растоплялся лед душевный, слезы умиления заливали ланиты, и Гавриил готов был стоять часами — лишь бы слушать и оживать в потоках живых, горящих огнем благодати слов таинственного старца. Одно поражало Гавриила: в конце каждой такой беседы затворник непременно прибавлял:

— Учись петь и читать хорошо: тебе придется быть в Москве.

Но мысли о Москве у него в голове не было, и потому слова старца как-то проходили малозамеченными. Этому же содействовало

и еще то обстоятельство, что прошло уже четыре года со дня вступления Гавриила в обитель, а его все еще не увольняли из мира, и оттого он находился в немалой тревоге за свое монашество.

Явление Божией Матери и отречение от мира

Однажды в такой скорби он видит ночью сон: будто бы он несет хоругвь с незнакомым изображением Божией Матери, и от Нее исходит голос:

— Молись и благодари Меня, ибо Я — твоя Помощница.

Гавриил с умилением лобызал Ея пречистый лик и на этом проснулся; а вечером в тот же день отец Никандр привез Гавриилу из Сергиевой Лавры образ Черниговской Божией Матери — тот самый, который Гавриил видел во сне. На другой день получено было и увольнение Казенной палаты.

Радости Гавриила не было конца. С любовью и слезами благодарил он Бога и Царицу Небесную. В скором времени его приписали к Введенской Оптиной пустыни и облекли в рясофор. Теперь он и по виду — уже монах.

Послушание его было все то же — на «игуменской» кухне. Он достиг в это время уже больших успехов в поварском искусстве и далеко превзошел мирских поваров. Иногда тонкостью вкуса и изяществом убранства блюд он настолько удивлял приезжих высоких лиц, что они считали недостаточным похвалить приготовление пред отцом игуменом, но вызывали и самого отца Гавриила и лично выражали ему свое восхищение, а иногда даже и заказывали ему несколько бутылочек квасу или меду, чтобы взять с собой — дома показать...

Но все эти похвалы нисколько не интересовали и не надмевали отца Гавриила. У него была высокая напряженная духовная деятельность — ею он интересовался всего более, а не успехами у людей. Он старался приобрести добродетели, и паче всего любовь. Ради нее он трудился изо всех сил и не обращал внимания на то, что ему приходилось постоянно быть то в жару, у горячей плиты, то спускаться на ледник, то потным и усталым ночевать в келье, которая зимой промерзала на аршин от пола сплошным льдом, так, что койка была тоже влажная и холодная, как лед. Он простужался и болел: тифозной горячкой, а два раза

по два месяца был слеп — ничего не видел. Вообще же, как сам батюшка о себе говорил, «плоть у него была всегда немощна, а дух всегда бодр весьма».

Отчего это происходило? Исключительно от послушания. Оно приобретало ему и практические познания в делах обительских, и познание себя самого — в отношении добра и зла, силы и бессилия. И открывалось ему ясно, при указании от старцев, что во всяком деле нужна помощь Божия, и там, где она приходила, было все ясно, просто, светло и радостно. Где же нет благословения и помощи Божией, там какой-то духовный тупик, сплошная безвыходность и умирание духа. Потому отец Гавриил всегда начинал всякое дело с молитвы к Богу о помощи и научении и видел эту помощь во всем, что ни делал. Озаренный же благодатью Христовой дух его смирялся и усиленно устремлялся к соединению со Христом через молитву. И, по-видимому, к этому времени нужно относить начало усвоения им делания «непрестанной умно-сердечной молитвой Иисусовой». Ибо с этого времени он начал чувствовать в себе скопление как бы по отдельным капелькам благодатной любви, к которой и апостол

призывает, любви *николиже отпадающей*. А с любовью сердце его обогатилось и простотой, и той детской незлобивостью, которая, сияя светом неземной мудрости, сама в себе уже несет человеку небесные радости. *«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»* (Мф. 18, 3).

В постоянных трудах и послушании и при бдительном руководстве старца преуспевал отец Гавриил во внутренней, духовной жизни. Более и более познавал он спасительность монашества, возлюбил его и всем сердцем стремился к нему. В простоте сердечной он искренне радовался, когда видел чье-нибудь пострижение, и долго не замечал, что его, столь ревностно трудившегося для обители и спасения своего, как бы обходят пострижением, не обращают внимания на его пламенное желание быть монахом. Радовался и умилялся он, когда постригли сначала 12 человек, а потом 20 человек и, наконец, сразу — 40 человек, притом по времени поступления в пустынь уже ближайших к нему, а один из сих избранников — отец Никифор — был принят даже в один день с отцом Гавриилом. Это обстоятельство послужило толчком к новому отношению отца Гавриила и к себе,

и к пустыни. Его мучило недоумение: почему его обходят? Какая причина? Тем более это было странно и непонятно для него, чем более он узнавал, что им довольны и отец игумен, и старцы, и что последние даже просили постричь отца Гавриила. Просил о пострижении его и отец Никандр, но получил отказ и с печалью поведал о том отцу Гавриилу:

— Касатик, я просил отца игумена постричь тебя в мантию, а он мне ответил: «Да постриги его, а он и уйдет от нас...»

Как стрелы слова эти пронзили сердце отца Гавриила — он даже на ногах не мог стоять, закружилась голова, в груди остановилось дыхание и он лег... Но скоро овладел собою. В голове между тем зароились еще небывалые доселе мысли.

— Что же? Бог — везде Бог?.. Да и монахи ведь и всюду такие же монахи — святые! И обители мнози! — так в простоте своего сердца думал Гавриил, не видав других монахов, кроме оптинских. — Там нуждаются в монахах, и меня зовут усиленно; а здесь, видимо, не нуждаются, особенно — во мне. Уйду — здесь я не нужен...

Так зародилось решение уйти. Неизвестно, как отнеслись к нему старцы: батюшка

об этом никогда не говорил. Но, во всяком случае, о намерении отца Гавриила никто в пустыни не знал, так как он и вида не подавал, и послушание свое исполнял с прежним усердием.

Осенью, в октябре, он попросился на богомолье в Киев, и отец игумен отпустил его в сопровождении еще трех почтенных монахов. В Киеве они пробыли две недели, приобщались Святых Христовых Таин и усердно молились у всех киевских святынь. Впоследствии батюшка рассказывал, что ему особенно нравилось бывать в пещерах — у нетленных мощей преподобных, причем сколько раз ни подходил он к мощам прп. Пимена многоболезненного — всякий раз непременно чувствовал какую-то особенную теплоту в теле своем и вообще переживал состояние совершенно особенное, немало удивлялся этому и просил угодника Божия помочь ему в будущем.

Из Киева все четыре путника поехали в Москву. Отец Гавриил остановился в Высоко-Петровском монастыре, у архимандрита Григория. Последний и прежде еще звал его к себе, а теперь уже со всею силою стал убеждать перейти к нему в Петровский монастырь, обласкал скорбящего и обещал

в самом непродолжительном времени постричь в мантию. Храмы монастырские отцу Гавриилу понравились, и он решил подать прошение о переводе митрополиту Иннокентию. И перевод состоялся.

Но отец Гавриил вернулся пока в Оптину пустынь и опять вида не подавал о своем переходе в Москву. Между тем стал постепенно продавать свои вещи; но, получив за них деньги, до времени оставлял вещи на своем месте, так что и наружно не было еще заметно его сборов.

Однако нужно было выяснить: отпустит ли его Оптина пустынь? Для этого отец Гавриил пошел к письмоводителю отцу Макарию, и тот дал успокоительный ответ: нетде оснований задерживать одного человека от братства в 300 человек.

От письмоводителя весть об уходе отца Гавриила тотчас распространилась по обители. Узнали и отец игумен, и отец Никандр. Последний особенно печалился, горевал и всеми способами старался отклонить своего духовного друга от принятого решения. Он указывал и на хлопоты отца игумена по увольнению отца Гавриила из мира, и на его власть дать нелестную аттестацию, и обещал скорое пострижение в монашество,

и лучшую келью, и, наконец, видя непреклонность отца Гавриила, сказал, обливаясь слезами:

— Касатик! Ты идешь на крест: там тебе тяжело будет...

Отцу Гавриилу тоже трудно было сдержать слезы, но он кое-как крепился и твердо ответил:

— Что же? Ведь и из мира я шел на крест! Пусть эта крестная сила будет со мною до смерти.

Отец Никандр, однако, не успокоился: опять приходит и сообщает, что отец игумен переводит отца Гавриила на клиросное послушание — петь и читать, и дает новую хорошую келью. И опять уговаривает:

— Только ты останься! Все мы просим тебя...

Но отец Гавриил, хотя и перешел в новую прекрасную келью, которая была как Рай в сравнении с прежней холодной и промерзлой башней, однако сердцем не успокоился, и поток новых милостей только сильнее подчеркивал и оттенял для него прежнюю несправедливость обхода его монашеством. Поэтому, когда у него произошел прощальный разговор с отцом Исаакием, он со всею искренностью открыл

всю тяжесть своего чувства — от сознания, что, получив отказ в пострижении, он почувствовал себя как бы лишним в Оптинском братстве, ибо, по его убеждению, «монашество есть не награда, а — покаяние». И в этом ему отказывают! Но он не стесняется объявить себя пламенным искателем монашества, и ради этого идет даже в Москву, где с радостью дают ему пострижение. Ибо «наружный вид монаха необходим и для внутреннего монаха», то есть для души, сердца, разума и воли.

Отец игумен, видимо, был тронут и настроением, и словами отца Гавриила, и потому обещал постричь даже через неделю, если отец Гавриил пожелает остаться. Но последний, кланяясь в ноги отцу игумену, просил не оставить этой милостью на будущее время, если не оправдаются его надежды на Москву, а остаться в Оптиной не согласился — «иначе-де и вы станете считать меня нетвердым монахом, колеблющимся туда и сюда»...

Простившись и поблагодарив отца игумена, отец Гавриил быстро собрался к отъезду и покинул Оптину пустынь, о которой и до последнего времени вспоминал со слезами умиления и благодарности.

Москва. Искушения. Иеродиаконство

В Москву отец Гавриил прибыл 28 декабря 1874 года. Ему дали хорошую келью и сразу же назначили экономом и расходчиком; кроме того, архимандрит Григорий, ценя прекрасный тенор нового инока, поручил ему пение на правом клиросе и чтение очередных суток. В порученных ему экономических делах отец Гавриил в скором времени заявил себя прекрасным хозяином. Он быстро освоился с условиями покупки и продажи в Москве и, пользуясь богатым опытом жизни дома и в Оптиной пустыни, повел дело в Петровском монастыре на новый лад — прекрасно, почти богато, но без лишних расходов. Например, для трапезы братии он почти всегда старался взять самую лучшую белугу — в том соображении, что из нее совершенно нет никаких отбросов (костей, плавников, хвостов и проч.), и потому братия получает порцию, ласкающую и взор, и воображение, и вкус, и бывает более сыта и удовлетворена от такого блюда, между тем как в конечном итоге цена ему обходится та же, что и за мелкую дешевую рыбу. Руководствуясь такими

точными расчетами, отец Гавриил давал братии прекрасный, даже богатый стол. И в то же время у него во всем получались сбережения, так как никто из продавцов и поваров не мог его обмануть, хотя попытки и делали. Отец Гавриил действовал независимо, с большим размахом в покупках и со знанием дела и времени, поэтому у него всегда были запасы всего необходимого, обитель ни в чем не испытывала нужды, и в то же время не было ни долгов, ни убытков. Благодаря этому к нему перешли и все дела казначейские, то есть все хозяйство монастырское.

Такой успех стал вызывать у старшей братии зависть и даже явную вражду: они стали опасаться, что новый эконом всех их «столкнет» с их мест. В то же время и младшая братия — послушники — не могли считать отца Гавриила своим: он вел себя благоговейно, с достоинством, знал только церковь, келью да свои дела по послушанию, не водил знакомств, со всеми был ровен и ласков, но никому не позволял вольности обращения с ним и тем более — злоупотребления его добротой; словом, во всем он выгодно выделялся из их среды. Такая «святость», при многих неоспоримых даже внешних достоинствах

(например, физической силе и благообразии, прекрасном голосе, веселом характере), тоже раздражала послушников, и они употребляли все усилия, чтобы сделать его подобным себе. Не раз они старались напоить его допьяна, свести с женщинами, удержать от посещения церковных служб. Но так как все это не удавалось, то они даже грозили убить его. Для смягчения вражды и зависти отцу Гавриилу иногда приходилось даже наговаривать на себя монастырскому духовнику на исповеди; и та злорадность, с которой духовник выслушивал признания о небывших падениях, приводила ученика оптинских старцев в ужас и даже болезнь. К этому надо еще прибавить и тайные интриги против отца Гавриила пред настоятелем — архимандритом Григорием. По словам батюшки, отец Григорий был человек очень добрый, благожелательный и незлобивый, но по неопытности очень доверчивый; он легко поддавался влияниям, иногда совершенно неполезным. Это особенно сказалось в отношении отца Гавриила.

В скором же времени по поступлении отца Гавриила отец архимандрит начал почему-то часто звать его к себе в неурочное время: утром рано, либо ночью поздно

(а отец Гавриил всегда был дома); затем стал придираться к нему по поводу хозяйственных дел — и все невпопад. Отцу Гавриилу нетрудно было разгадать, чьи это влияния расстраивают настоятеля, и потому он никогда не вступал с ним в споры, а, уважая отца Григория, кротко объяснял ему суть дела. Отцу архимандриту всегда приходилось сознавать ошибочность выговора. По своей кротости он тут же простодушно и извинялся пред своим подчиненным:

— Э-э... Уж ты прости меня — наговорили мне на тебя, — бывало, скажет он своим хриплым голосом.

Отец Гавриил всегда старался успокоить его как мог. Но интриги и наговоры не прекращались. И вот отец архимандрит, поддавшись им, поручает покупку дров другому — иеромонаху Ионе. Этот опыт стоил монастырю немалого убытка. Зовет отец архимандрит отца Гавриила и виновато говорит:

— Я опять попался! Послушал людей — себя наказал, — и снова передает все хозяйственные дела отцу Гавриилу.

Вскоре тот же отец Иона стал доказывать настоятелю, что отец Гавриил слишком роскошно кормит братию, и что он, отец

Иона, смело мог бы сэкономить на трапезе рублей 100 в месяц; это составило бы в год 1200 рублей, а через 10 лет — целый капитал! Послушался отец архимандрит и, призвав отца Гавриила, велел ему сдать должность отцу Ионе. Отец Гавриил с радостью исполнил приказ. Это было 24 мая (1875 года). Но ровно через три месяца отец Григорий неожиданно, часов в 11 вечера, призывает отца Гавриила и сокрушенно открывает ему, что отец Иона опять ввел монастырь в убыток — рублей в 300, да к тому же еще морил братию голодом, либо давал протухшую пищу, так что и терпения уже не стало. И умоляюще прибавил:

— Ээ-э... уж ты... того... возьмись опять за свое дело... пожалуйста!

Сколько ни отказывался отец Гавриил, а все-таки пришлось ему взяться за хозяйство, которое он быстро привел опять в полный порядок. Братия пели ему «многая лета», а отцу Ионе провозглашали «анафему». Как ни неприятна была отцу Гавриилу такая форма одобрения, отец Иона всетаки был оскорблен и стал избирать другие пути для удаления отца Гавриила.

В течение следующего года отец архимандрит опять стал относиться к отцу Гавриилу

хуже. Впору было уходить в другой монастырь. Решив это, отец Гавриил даже не пытался и оправдываться пред настоятелем, а все предоставил на волю Божию. Наконец надумал особенно молиться Матери Божией, и вот стал читать Ей молебный канон: «Многими содержим напастями». Читает день, другой, начал читать и в третий раз, как вдруг стучат в дверь и зовут к отцу архимандриту. Отец Гавриил оставил чтение на половине, оделся и пошел к настоятелю. Отец Григорий благословил его, тотчас вызвал келейника Володю и приказывает ему:

— Володя, говори!

Володя земно поклонился отцу Гавриилу и поведал ему всю правду: как он наговорил на него по наущению других, как теперь сознает всю вину, и прибавил:

— А эти два дня почему-то меня совесть замучила — я места не нахожу... — и все рассказал отцу архимандриту. — Простите меня! — и снова поклонился.

К его извинению присоединил свое и отец Григорий. Тут уже и отец Гавриил ему поклонился в ноги и просил прощения за то, что, не оправдываясь, он тем самым как бы укреплял настоятельские подозрения

против себя. Произошло сладостное примирение: все расцеловались, и отец Григорий радостно улыбался ангельской улыбкой. А отец Гавриил, придя в келью, горячо, с умилением благодарил Владычицу — свою скорую Помощницу и Заступницу. С этого времени он еще более утвердился в своей вере к Ней.

Но Господу угодно было попустить и иное испытание для отца Гавриила. Началось оно вскоре по приезде в Москву. На первой неделе Великого поста он был в церкви и, проходя на клирос, неожиданно увидел барышню — очень красивую, которая тоже смотрела на него. Их взоры встретились, и оба тотчас же почувствовали, как точно жгучие стрелы пронзили их сердца, и оба они задрожали и вспыхнули. Всю службу он простоял в каком-то оцепенении, хотя и старался восстановить мир души. По окончании службы опять та же встреча, и опять что-то неотразимо проникло в сердце и волновало. Барышня стала посещать каждую службу, потом говела в Петровском же монастыре. Пользуясь удобными случаями, она старалась передать отцу Гавриилу записочки: в них открывала свои пламенные чувства, просила

выйти из обители и жениться на ней, попутно сообщала, что родители ее — люди богатые и что, поженившись, они могут безбедно жить на ее приданое. Словом, ставила дело так, что все зависело от решения самого отца Гавриила.

А отец Гавриил, хотя и старался не глядеть на нее, однако совершенно избавиться от своих чувств не мог и оттого сильно страдал: плохо ел и пил, плохо спал. Он любил монастырь, любил монашескую жизнь и Господа Бога. Но — эта страсть?.. Она, как кандалами, связала его душу и, лишив мира душевного и свободы, наполнила его сердце темной тревогой. Поэтому он старался всеми силами прилепляться к Богу, к молитве — только в этом он находил опору, сладость, утешение. Прошли мучительные весна и лето. На память святителя Тихона Задонского (13 августа) отец Гавриил был пострижен в монашество и получил имя этого угодника Божия — Тихон, за то что, как говорил отец Григорий, был тихий, кроткий со всеми. Это событие, к которому он так стремился всей душой, для которого даже оставил Оптину пустынь, только на время облегчило его муку сердечную. Дальше опять начались

те же страдания, та же борьба духа с искушениями плоти, и вот — минул год, снова проходил Великий пост, наступила уже Страстная неделя, а отец Тихон все еще в мучениях тайной борьбы с самим собою... После одной вечерней службы он в своей келье падает на колена и молится об избавлении от страсти. Но — какая это была молитва! Это был вопль, стон сердца, а не молитва...

— Господи! Ты знаешь, что я не могу любить никого и ничего, кроме Тебя... И — не буду! Я — создание Твое: зачем же отдавать меня?! Пусть и страдать буду, а не отступлю от Тебя! Пусть я недостоин иметь в себе любовь к Тебе, но Ты — Творец всему, оживи же меня! Ведь *«не мертвые восхвалят Тебя, а живые»* (Пс. 113, 25–26).

Затем с таким же воплем помолился и Матери Божией — и уснул. Во сне он видит, будто бы спешно бежит из Москвы, но на пути страшная пропасть, и обойти нельзя. Перекрестившись, он прыгнул на противоположную сторону пропасти и, ухватившись за маленький кустик, повис ногами над пропастью. И в тот же момент подошла к нему какая-то Монахиня дивной красоты и хотела было помочь ему. Но отец Тихон

отстранил ее руку: «Я, — говорит, — только что бежал от такой же красавицы». Но Монахиня ухватила его за руку, и со словами: «Я твоя Заступница!» — вытащила его совершенно из пропасти. Отец Тихон оказался в каком-то дивном, как Рай, саду, тут был и отец Амвросий, оптинский старец; он удивился, что отец Тихон миновал пропасть, а выслушав от отца Тихона всю историю его мучений и спасения дивной Монахиней, ударил его рукой по лбу и сказал:

— Это Матерь Божия тебя спасает! Беги из Москвы!

Отец Тихон проснулся. Лоб чувствовал боль, но зато на сердце такой покой, сладкая легкость и мир! Радость неизглаголанная... И в такой радости он встретил Пасху. О, какой светлой она ему показалась! Всем существом он переживал силу Воскресения Христова, как изведение из адовой темницы на свободу Христову, и сладко было ему благодарить Бога и Матерь Божию в сознании, что в Них — помощь, победа, мир и веселье духовное. В таком настроении благодатном прошли для него весна и лето. Но осенью он опять встретил на улице эту барышню Сашу, и тотчас померк свет в душе его, и опять отрава ядовитая перелилась

в него из взоров этой Саши. Мученье адское! Особенно при воспоминании о только что пережитом благодатном состоянии. Отец Тихон молился, молился со слезами, пламенно, но просить Самого Господа стыдился, также и Божию Матерь, а более обращался к святителю Тихону. Однако облегчения все не было. Так было почти с год. На 13 августа отец Тихон после вечерней молитвы опять видит во сне, что к самой его кровати подошли свт. Тихон и свт. Димитрий Ростовский, сопровождая Пречистую Матерь Божию. Свт. Тихон сказал:

— Что грустишь? Надо бы терпеть: мученическую получил бы награду!

Но отец Тихон со стоном стал просить об избавлении от страсти. Святитель Тихон указал ему на Матерь Божию, и он с еще большей силой стал просить Приснодеву. Она подошла к нему и положила обе руки на его голову. От этого прикосновения он почувствовал свежесть и обновление во всем организме и проснулся. Страсти уже не было; сердце было наполнено чувствами благоговейными, святыми. И отец Тихон с величайшей благодарностью воссылал свои молитвы к Богу, Матери Божией за свое избавление.

Познав на опыте, что значат цепи страсти, батюшка впоследствии всегда был сострадателен к рабствующим какой-либо страсти и никогда не осуждал их, а только всем сердцем соболезновал и старался своими советами и особенно молитвами ослабить узы вражеского плена. Зане и это средостение только *о Христе престает.*

Как получивший милость от Бога, отец Тихон и сам стал миловать и жалеть всех подверженных дурным привычкам. Он заступался за них пред отцом Григорием. И был случай, что один иеромонах, оштрафованный за нетрезвость, после такого заступничества совершенно исправился — перестал пить. Однако отец Григорий, слушаясь и уважая отца Тихона, тем не менее обходил его иеродиаконством. Представлял многих из своих братий, часто мало и даже совсем недостойных посвящения, а отца Тихона обходил. Очевидно, тут было влияние клеветы и наговоров, а может быть, отец Григорий опасался представлением отца Тихона возбудить в братии еще большую вражду против него и себя самого. Так прошло около двух лет.

В ночь на 19 февраля 1877 года отец Тихон видит во сне, что московский викарный

владыка Можайский (которого он еще ни разу и не видал до этого) дает ему 20 копеек и приказывает вымыться в бане — «от семи лет», и будто бы отец Амвросий Оптинский объясняет ему, что это значит: надо исповедаться от семи лет, ибо будет посвящение в сан иеродиакона 20-го числа. Отец Тихон тут же и исповедался у отца Амвросия — во сне, конечно. Проснувшись, не мог он отделаться от удивления и в таком состоянии пошел к Преждеосвященной литургии, ибо была пятница Великого поста. После пения «Да исправится» позвал его в алтарь отец архимандрит и, дав 20 копеек, велел ему ехать к Можайскому владыке на Саввинское подворье:

— Дело в том, — говорит, — я представил тебя в сан иеродиакона... Теперь тебе надо представиться духовнику, он исповедует тебя и сведет к владыке на экзамен.

Не переставая удивляться такой неожиданности, поехал отец Тихон на Саввинское подворье. Духовник, узнав, что он «ставленник», и притом еще нигде не учившийся, начал задавать ему вопросы из Катехизиса. А отец Тихон даже и слова такого не слыхал до этого времени; но отвечал, как сам

понимал православное учение — в простых некнижных выражениях.

— Да не так отвечаешь! Вот как надо отвечать! — говорит ему духовник, и сам по книжке вычитывает ему следуемый ответ и заставляет повторять.

Отец Тихон быстро и ясно повторял. Тут духовник дал ему книжку на руки и велел пока ехать домой — почитать Катехизис и к вечерне опять явиться к нему. Отец Тихон с двенадцати до пяти часов читал Катехизис с поваром, который по книге поправлял, что неладно. В пять часов отец Тихон снова у духовника. Опять экзамен. На этот раз духовник, уже удивляясь, говорит:

— Ты поражаешь меня... Ну и память же! Пойдем ко владыке.

Преосвященный, выслушав от отца духовника историю «подготовки» отца Тихона, сам стал его спрашивать и тоже удивился, а потом приказал ему идти в крестовую церковь ко всенощной и прочитать шестопсалмие, а на утро явиться в восьми часам к посвящению и прочитать на литургии Апостол. Отец Тихон так и сделал. Но, читая Апостол в храме, волновался и робел так, что книга прыгала в руках, слов было не видно, и он читал на память. Голоса тоже

не мог сдержать, и он, повышаясь к концу чтения, звенел на весь храм, а кругом слышался шепот:

— Голос-то, голос-то какой!

В положенное время состоялось посвящение; отец Тихон весь внутренне преобразился и успокоился, и ектенью «Прости приимше» говорил уже сознательно — чистым, ясным голосом и ровно.

Придя домой, отец Тихон прежде всего явился к отцу Григорию с просфорой и земным поклоном благодарил его за получение священного сана. Отец Григорий был, видимо, тронут этой признательностью и сказал:

— Сегодня и завтра будешь служить со мной за старшего.

И вот отец Тихон в белом стихаре совершает первую всенощную, и почти безошибочно. Это было тем более странно, что он не присматривался нарочито к действиям диаконским и не готовился. Сам батюшка говаривал, что в этой правильности служения есть особое руководство Духа Святого. Вот наступил момент, когда нужно было петь величание Божией Матери. Отец Тихон, став лицом к народу, запел: «Достойно есть». Его высокий, чистый, удивительно

мягкий и приятный тенор на этот раз от внутреннего молитвенного настроения звучал так увлекательно и так всех унес в небесную высь, что у многих потекли слезы умиления. И в этот самый момент сбегает с клироса регент, он же и старший иеродиакон — отец Георгий, и кричит по адресу отца Тихона: «Погубил меня! Погубил!» — и убежал вон из храма — настолько велико было впечатление от службы отца Тихона и так мучительно сильна была зависть к нему!

С этого времени он не знал покоя в интригах против отца Тихона, пока сам не ушел на Афон. Но уходя, он раскрыл отцу Тихону всю бездну тайных своих козней против него: как клеветал настоятелю и братии, как старался приучить к водке, как подкупал девушек совратить его на разврат и как теперь чувствует себя морально убитым от собственных своих дел... Тяжело, невыносимо было отцу Тихону выслушивать такую исповедь своего бывшего врага. Пал он на колени и с плачем благодарил Бога и Царицу Небесную за избавление от стольких напастей. Вспомнилась ему тут и Оптина пустынь с ее духоносными старцами, и вся братия пустынная. Как непохожа

была на их жизнь — жизнь монашеская в столице! Но отец Тихон не падал духом, видя явную помощь себе Божией Матери. Кроме того, укрепляла его и переписка с оптинскими старцами. Отец Исаакий продолжал звать его к себе в Оптину; а отец Амвросий советовал бежать куда угодно — только не жить в Москве. Но еще не пришло время бежать; скорби же и напасти отец Тихон переносил не только с терпением о Христе, но и с большой пользой для себя. Внимая себе, он ясно научался видеть, что человек — **ничто**, и в борьбе с пороками и страстями бывает победителем лишь настолько, насколько смиряет себя и приемлет помощь от Бога. Да и относительно скорбей он воспитал взгляд, что они бывают посылаемы людям, когда им грозит падение от разленения плоти или духа или от разнежения. Поэтому он мужественно переносил все испытания и уже **сознательно** смирялся пред Богом — по чистой, бескорыстной любви к Нему, ибо на опыте познал, что только *«Дух животворит»* (Ин. 6, 63).

За три года, что прошли со дня посвящения в иеродиакона, отец Тихон всего насмотрелся и всего натерпелся в Петровском монастыре. Правда, он не скучал: дух

его всегда был занят внутренней работой и молитвой, да и не было времени предаваться горьким размышлениям: дел по хозяйственному послушанию было так много, что впору было лишь добраться до кельи и хотя немного дать отдыха и покоя своему усталому телу на тонком войлоке, а с утра — опять надо идти к утрене, которую он **никогда** не пропускал, и снова браться за свои хлопоты для обители.

Но совет отца Амвросия уйти из Москвы всегда был в памяти отца Тихона. Только как исполнить его? Надумал отец Тихон сперва проситься у отца архимандрита в отпуск — на родину. Просился целых три месяца — все без успеха. Под конец даже перестали и допускать до отца Григория. Но Господь опять известил своего раба видением во сне. Снится отцу Тихону, будто подали для него экипаж, и на его недоумение какой-то голос говорит:

— Это — для тебя: в Богоявленский монастырь! Готовься!

Утром, только отец Тихон успел прочесть молитвы и молебный канон Божией Матери, его зовет отец архимандрит. Оказалось — ему уже успел наябедничать один иеромонах, что отец Тихон «перестал-де

к утрене ходить, и потому надо-де уволить его». А на самом деле — в этот раз отец Тихон пропустил лишь *первую* утреню, и то — по уговору того же иеромонаха. Вот отец Григорий и дал отцу Тихону отпуск на два месяца. Но так как лето уже проходило и отец Тихон, потеряв надежду на отпуск, деньги свои истратил, то он с отпуском и консисторским билетом пришел в Богоявленский монастырь к казначею отцу Филарету и попросил принять его в число братии. Отец Филарет еще прежде знал и любил отца Тихона, и теперь на его просьбу ответил полнейшим согласием. Дело было сделано так скоро, что к вечеру отец Тихон уже пришел к отцу Григорию прощаться, причем просил его «отпустить с миром, если придется остаться где-либо в другом месте». Отец Григорий сначала и слушать не хотел. Но отец Тихон убедил его, что рано или поздно — все равно придется уходить ему от зависти братии и клеветы, пример которой — налицо даже сегодня утром; для обители же и для самого отца архимандрита он уже много потрудился, и притом — с полным усердием и большой пользой. Отец Григорий вполне с этим согласился и, как ни жалел, все же дал ему свое благословение

на переход в Богоявленский монастырь. И отец Тихон с миром переехал туда на другой же день рано утром.

Нас не может не удивлять, как отец Тихон мог решиться на оставление Оптиной пустыни ради Москвы, и как, попав после святой оптинской жизни в такой круговорот разнузданных страстей, пороков и даже явных преступлений (каковы: заговор на убийство его или тайное заражение дурной болезнью, от которой он вылечился благодаря лишь быстрому и умелому лечению), — как он со своими высокими идеалами монашеской жизни мог оставаться в Петровском монастыре более пяти лет (с 1875 года по 19 августа 1880 года)?

Ответ на это указан отчасти выше: отец Тихон желал **только** монашества, а не выгод столичной жизни; и кроме того, по своей наивной, детской простоте, верил, что монахи и не могут жить иначе как *свято*... А на святой подвиг — «на крест» — он сам готов был идти куда угодно, и от намеченного пути и принятого решения не отступал ни под каким предлогом, чтобы самому не быть колеблющимся и другим не дать повода считать его за «непостоянного»

монаха. Это мы и видели в ответе его отцу Исаакию, когда последний, в желании удержать отца Тихона в Оптиной, готов был дать ему и лучшую келью, и клиросное, более легкое послушание, и самое монашество. Тогда этой твердости и решительности ответа, кроме того, содействовало, несомненно, еще и влияние старца Мелхиседека: он за несколько лет предуказывал отцу Тихону на Москву, и его слова, конечно, тоже имели свое значение в выборе Москвы и в дальнейшей решимости жить там до последней возможности.

Когда же отец Тихон в Москве сразу попал под давление и внешних скорбей — от братии, и внутренних — от горького разочарования в столичном монашестве, он не предавался унынию, но пламенно верил в близость Божию и покров Царицы Небесной. И эта вера его, как мы знаем, не обманула его. *«Когда я говорил: “колеблется нога моя”, — милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою».* (Пс. 93, 18–19). То в молитвенном озарении, то в тонком сновидении Господь научал и руководил его решениями. И этого **несомненного**

руководства, то есть явного выражения воли Божией в какой-либо форме, батюшка всегда просил и ждал, ждал притом целыми годами, даже десятилетиями, в этом ожидании весь смирялся, все терпел, во всем старался угодить Богу и исполнить заповеди Его, очищал сердце свое и духовное свое чувство утончал настолько, что, когда приходило время и Бог открывал волю Свою, он принимал ее с живейшей радостью, пил и наслаждался исполнением ее, как земля жаждущая пьет благовременный дождь и плодоприносит. И он мог отличать проявление воли Божией в массе самых запутанных и сложных обстоятельств жизни. С ним случалось то, что описано у пророка Исаии: *«И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: “вот путь, идите по нему”, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево»* (Ис. 30, 21). Так, и из Петровского монастыря отец Тихон ушел только тогда, когда получил указание «голосом» в сновидении, и внутренним чувством уверился, что это указание — воля Господня, а не прельщение.

Для подтверждения того, что отец Тихон в описываемое время уже имел от Бога *дар*

различения духов (1 Кор. 12, 10), то есть способен был своим духовным чувством различать волю Божию от прельщения бесовского, приведем такой пример:

Был в Москве купец Титков. Две его молодые дочери-барышни часто ходили в Петровский монастырь к службам церковным и, по молодости своей, стали заглядываться на молодых послушников и монахов. Родители подметили их увлечения и запретили им ходить в Петровский монастырь. И вот отец Тихон однажды слышит голос:

— Скажи Титкову, чтобы отпускал дочерей молиться, иначе — сгорят вместе с товаром!

Этот голос повторялся несколько раз и непременно — с угрозой: «сгорят!» Отец Тихон заподозрил духа лукавого и решил не предупреждать Титковых. Наконец голос стал требовательным:

— Иди, скажи: сегодня загорится магазин в 9 часов!

Отец Тихон опять не послушал и не сказал. Вдруг слышит:

— У Титковых магазин загорелся!

В этот же момент раздался набатный звон.

— Не говорил ли я тебе? Вот — был бы теперь прославлен!

Так отец Тихон избежал падения в прелесть, и в то же время поверил в правду голоса, говорившего ему про экипаж:

— Это тебе — в Богоявленский монастырь.

Переход в Богоявленский монастырь

Официальное перемещение отца Тихона в Богоявленский монастырь состоялось 19 августа 1880 года. Главным послушанием для него здесь было служение в церкви.

В Москве и по сие время весьма ценят в диаконах хороший голос — будь он и не бас, а только тенор. Поэтому отец Тихон, как прекрасный диакон, с умилительным настраивающим служением и чудным голосом, стал скоро известен в кругу любителей церковного благолепия. А у отца Тихона был не только голос, но и прекрасная манера держать себя при богослужении (то есть ходить, кланяться, кадить): красотой своего служения он положительно удивлял и умилял всех, кто знал его, например, в годы его настоятельства, в сане архимандрита. Действительно: редко можно встретить

такое счастливое сочетание в одном человеке наружных и внутренних качеств, как рост, голос, благоговейная красота и величественная простота. Поэтому его брал для своего служения и настоятель Богоявленского монастыря преосвященный Амвросий для служений на стороне; приглашали часто и старосты разных приходских храмов, особенно в большие праздники, и всегда хорошо платили ему, а нередко и угощали его после служений у себя в домах, так как отец Тихон очень нравился им не только как иеродиакон, но и как веселый, ласковый собеседник, притом никогда не выходивший из правил монашеского поведения. Правда, эти хождения по гостям были как бы вынужденными, и после возвращения в свою келью отец Тихон всегда с особенным удовольствием запирался и в сладостной молитве и слезах изливал пред Богом свою душу. Но тем не менее от похвал и ухаживаний со стороны своих почитателей он не мог избавиться. Эти похвалы и материальный успех отца Тихона стали вызывать зависть в сослуживцах его — иеродиаконах богоявленских. Отец Тихон жалел их, понимал обидную скудость их дарований и старался всегда по возможности

чем-нибудь утешить их. Расскажем о таком случае:

В Великий Четверток случилось еще и Благовещение. В Богоявленском монастыре было много причастников и богомольцев, и поэтому отцу Филарету (казначею) хотелось, конечно, службу церковную отправить наиболее торжественно. Между тем монастырский протодиакон был отпущен на сторону, отец Тихон тоже был приглашен в приходский храм, и для служения с отцом Филаретом должен был остаться чередной иеродиакон отец Нафанаил; голос у него был плохой, да к тому же еще и трещал. Отцу Филарету очень не хотелось с ним служить... Но жаль было этому добряку задерживать и отца Тихона — лишать хорошего дохода.

— Ах, материн сын! Жаль мне тебя отпустить, жаль и не отпустить... — сетовал отец Филарет.

Из этого затруднения вывел его сам отец Тихон: он предложил остаться дома, а отца Нафанаила отпустить на сторону. Отец казначей согласился, но взял с отца Нафанаила слово, что тот из своего дохода несколько заплатит заменяющему его отцу Тихону.

В самый праздник отец Тихон был в особо умиленном состоянии духа. Любил он Благовещение, благоговел пред своей Заступницей — Девой Марией; и радостная весть, принесенная Ей с неба Архангелом Гавриилом, имя которого он получил при крещении, каким-то особенным огнем благодати касалась и его собственного сердца. На этот раз еще переживались одновременно и Тайная вечеря, и страдания Христовы. И повествовать о сем евангельским чтением выпало на долю отца Тихона. Он, прекрасно владея голосом, прочитал эти два Евангелия так восторженно, так захватывающе красиво, что вся церковь притихла и как бы вместе с ним переживала события праздника. Вот Дева Мария смиренно отвечает Ангелу: *«Се, раба Господня, — буди Ми по глаголу твоему...»* — и в этом ответе положено начало нашего спасения, нашего примирения с Богом и вечной радости... Вот Архангел, сам трепетно переживающий величие священного момента, возвращается на небо, и голос отца Тихона стремится туда же — в небесную высь, и, возрастая в силе, наполняет весь храм каким-то торжествующим, сладким вдохновением, и вот

потоком радости льются заключительные слова Евангелия:

— ..*И отыде от Нея А-ан-ге-е-л!*

У всех по телу пробежали мурашки. А певчие на клиросе радостно улыбаются отцу Тихону и даже бесшумно как бы рукоплещут в ладоши — прекрасно-де прочитал.

После обедни отца Тихона обступили богомольцы и стали благодарить за служение, причем после пожатия руки отец Тихон неизменно ощущал в ней пакетики и просто бумажки, которые он и рассовывал у себя по всем карманам. А отец Филарет шел сзади — все видел и радовался. Когда все служащие собрались на чай у отца Филарета, он и говорит:

— Ну, отец Тихон, выворачивай-ка карманы: посмотрим, что там у тебя!..

Отец Тихон стал выгружать пакетики и бумажки, а отец Филарет тут же считал. Насчитали 52 рубля. На радостях и сам отец Филарет от себя «для закругления» приложил еще 8 рублей, и потом обратился к присутствующим с такими словами:

— Вот, отцы — вы не раз мне высказывали свои обиды, что отец Тихон на стороне служит и деньги за служение, по моему

благословению, все себе берет, а их-де немало дают ему. Вот сегодня мы все служили с ним, а что получили? Никто ни одной копейки! А отец Тихон получил 60 рублей! Ему дали — его и счастье! Да сказать по правде: и голос! И слушать приятно, и дать не жаль...

В этот момент возвратился из города отец Нафанаил. Отец казначей спрашивает его:

— Ну что, материн сын, много выслужил? Поделись с отцом Тихоном! Что же? Дать надо.

Отец Нафанаил, красный от стыда, говорит, что дали ему три рубля. Отец казначей все-таки настаивает, что нужно поделиться с отцом Тихоном, который служил за него дома. А отец Тихон уже испугался: жаль ему несчастного собрата, и совестно за свое богатство; он незаметно подсунул отцу Нафанаилу от себя пять рублей и постарался рассеять его смущение.

Кроме дохода от служений, у отца Тихона неожиданно для него самого явился еще один источник прибылей. Гуляя по московским улицам, он всегда любовался цветочными магазинами, даже нарочно ходил, бывало, в ненастный день, когда на улицах

мало народа: встанет у освещенного магазинного окна и долго-долго любуется красотой цветущих растений, удивляется на Божие творение и воздыхает о райской красоте... И вот посчастливилось ему где-то достать отводку хорошей розы, он ее вырастил, и первые же цветы были пленительно хороши. Тогда отец Тихон стал ухаживать за нею с особой заботой и развел от нее множество новых кустиков. Уже ранней весной они начинали цвести и наполняли комнату дивным ароматом. Находились охотники покупать и давали отцу Тихону хорошие деньги, хотя он и не торговался, а брал, сколько давали. Все-таки за лето накоплялась порядочная сумма. Но отец Тихон не радовался прибылям. Он раза два до последней копейки раздавал нищим все свои сбережения. Ему нужна была лишь деятельность, где он мог бы приложить свои способности, а деньги нужны были на бегство из Москвы, о чем он не переставал думать все время после письма отца Амвросия Оптинского. Он прекрасно видел, что Москва была опасна для него, что условия для монашеской жизни там неблагоприятны и что сокровища духа можно рассеять безвозвратно. Иногда он переживал

такое застывание духа, при котором терялась любовь ко всему и доверие ко всем; мир начинал представляться собранием звериных инстинктов, где уже нет осияния Божественной благодати и все кругом пусто... Можно было впасть в уныние и отчаяние... Конечно, была еще неискоренимая надежда на милосердие Божие, оставались еще и воспоминания о прежних посещениях благодати Божией и чудных явлениях угодников Божиих и Царицы Небесной. Эти воспоминания, действительно, оживляли его дух на некоторое время, но вместе и уязвляли сердце жалостью и страданием, что это было — и нет уже теперь. И он горько плакал о себе и просил у Бога помощи и выхода.

На эту тему он нередко говорил с любившим его единодушным отцом Филаретом, который и сам был усердный и целомудренный по уму и жизни монах, милостивый ко всем нищим и убогим; беседуя, они раскрывали свои души и нередко сокрушенно воздыхали и плакали о несовершенстве своей жизни по Богу. Отцу Филарету приходилось невольно соглашаться с отцом Тихоном, что для спасения лучше жить не в Москве, а в какой-нибудь пустыни.

Но ему вместе с тем было и жаль отпускать такого хорошего служаку-иеродиакона и своего друга-боголюбца. Зная это, отец Тихон стал проситься у него прежде только в отпуск на родину — с тем чтобы на пути в Пермь побывать и в Казани, в Раифской пустыни, куда звал его игумен отец В. Отец Филарет дал двухмесячный отпуск, но все еще уговаривал отца Тихона вернуться обратно.

Наконец в половине июня отец Тихон окончательно собрался. Прощание его с отцом Филаретом, искренно его любившим, было очень трогательно. Им не суждено было больше встретиться в сей жизни, но — как передавал батюшка — отец Филарет почему-то часто являлся ему во сне: то просил возвратиться в Москву, то предупреждал о грозивших неприятностях (и слова его всегда сбывались), то просил помолиться о нем — и это бывало именно в то время, когда батюшка почему-либо забывал помянуть его имя на своей молитве.

И вот отец Тихон покидает Москву. Ему жаль расстаться только со святынями, с мощами угодников Божиих, с единственным во всей России благолепием храмов Божиих... Но от суеты столичной жизни, от красивых обольщений, от всех богатств

миллионного города он бежал, как Моисей из чертогов дщери фараоновой, он тоже *«поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища, ибо взирал на воздаяние»* (Евр. 11, 26).

Раифская пустынь

В Раифскую пустынь отец Тихон прибыл 29 июня 1881 года. Еще подъезжая к пустыни, он глубоко переживал свое переселение, а густой лес, окружающий монастырь, с его ароматом цветущих лип, с одинокими фигурами монахов, гуськом гулявших по лесным тропинкам, еще более оттенял всю разницу этой пустыни от шумной Москвы. Одна тишина и безлюдность места чего стоят! Умилилось сердце отца Тихона...

В пустыни его уже ожидали, поэтому приготовили ему и хорошую келью, и хорошую закуску — подкрепиться с дороги. Московского иеродиакона, да еще небезызвестного, приняли очень хорошо, даже ласково. Все старались ему сделать что-нибудь приятное, показывали ему все монастырские храмы, святыни, ближайшие окрестности.

Но все эти ухаживания не веселили отца Тихона. Он благодарил любезных отцов, но сердце его рвалось скорее быть в уединении, хотелось скорее использовать эту пустынность для своего духовного обновления, для покаяния, молитвы и слез. Отпечаток этой грусти заметен был и братии. Но так как отец Тихон в это же самое время стал чувствовать недомогание, то братия и объяснила его настроение начинавшейся болезнью. Скоро открылась длительная лихорадка. Отцу Тихону пришлось отказаться от поездки на родину, и он остался в Раифе.

Теперь он мог наслаждаться уединением и молитвой. Больше всего ему нравилось уходить в глубь леса и там предаваться молитвенному плачу. Это облегчало душу его, являлось былое дерзновение в молитве и уверенность в близости Божией. Но достоверным признаком близости Господней к себе он дерзновенно почитал лишь возвращение ему прежних даров Святого Утешителя-Духа. И надежда его исполнилась. По образному откровению во сне, а потом и от самого отца игумена, он узнал о вражде двух братий, из которых один готов был поглотить другого, хотя сам был

виноват. Для обители могла явиться большая неприятность. И вот отец Тихон, по внушению внутреннего голоса и по просьбе отца игумена, стал склонять враждующих к примирению и прощению. Дело кое-как уладилось, тем более что и виновник неприятности скоро перевелся в другой монастырь. Но отец Тихон вложил в это дело всю душу: уговаривая, сам скорбел с обиженным и плакал с ним, как сам над собою. Ибо сердце его от молитвенного умиления стало как бы пламенным на всякое сострадание к падшим, а внутреннее чувство подсказывало, что опять он получает в сердце своем утраченное было руководство Духа Святого. Все это, при сознании своих грехов, еще более смиряло его и делало готовым на всякий подвиг для Бога, по любви к Нему и благодарности.

В это же время Бог явил отцу Тихону и другую милость: его посвятили в сан иеромонаха (24 апреля 1883 года), а отец игумен, с благоволением относившийся к нему, кроме того сделал его братским духовником.

Но благоволение это, однако, не было прочным, так как сам отец игумен, почему-то всегда опасавшийся за свое настоятельство,

теперь стал опасаться уже самого отца Тихона, хотя последний ничего не искал и даже иеромонашество принимал с глубоким страхом. Эти опасения скоро стали явными и для отца Тихона. Однажды отец игумен говорит ему:

— Отец Тихон! У меня есть тайна для тебя...

— Какая там тайна?! — срезал его отец Тихон. — Ведь вы подали прошение в Киев, в Михайловский монастырь?

Отец игумен так и сел от неожиданности: он знал, что никому не известна его поездка в Казань, что никто не ведает о подаче прошения в Киев...

— Что ты, что ты?.. Откуда ты знаешь?.. Ну, приходи ко мне чай пить — потолкуем.

Во время чая отец игумен высказывает свои предположения: как он поедет в Киев, как возьмет туда с собой и отца Тихона. А внутренний голос открывает в это время отцу Тихону:

— Скажи отцу игумену: в Михайловском монастыре теперь смятение... Скончался епископ Иоанн скоропостижно...

Отец Тихон сказал и прибавил:

— Куда же теперь вы поедете?.. От одного берега отстали бы, а к другому не пристали...

Отец игумен был в страхе и в недоумении: верить ли?.. Но отец Тихон опять говорит, что сообщение верное, что придет телеграмма. На другой день, действительно, пришла телеграмма, окончательно сразившая отца игумена. Его планы на Киев рухнули...

С этого времени он стал часто допытываться у отца Тихона: каким образом он узнает тайны? И сетовал:

— Отчего же я не могу знать? Скажи пожалуйста!..

Отец Тихон объяснял, как мог:

— Добродетелей у меня нет никаких, а одни только грехи... И не думаю я, чтобы за них Господь поощрял меня откровениями — нет! Но я плачу и сильно сокрушаюсь, что прогневил я Создателя и Бога моего... А эти явления показывают, что Бог близ есть, и призывает грешника к покаянию; и вот — внушает не падать духом, а надеяться на Него. Вот и все тут! А что касается откровений, то это — дело Божие, и я тут ни при чем.

Конечно, отцу игумену до́лжно было знать из аскетических писаний, что «видение привлекается красотою смирения», но близость человека, обладавшего сим

даром, наоборот, как-то беспокоила его, отчасти страшила и вместе толкала на любопытство и зависть. Однажды он придрался к отцу Тихону за то, что он во время Херувимской песни за литургией молился со слезами и отирал их платком. Он грубо заметил:

— Будет тебе заниматься туалетом! Читай «Помилуй мя, Боже»...

А отец Тихон как раз именно и читал с сокрушенным сердцем этот псалом.

Во время «Верую», когда все священнослужители лобызают друг друга в рамена и в руку, отец Тихон тоже подошел к игумену с положенными словами: «*Христос посреде нас*». Неожиданно отец игумен поклонился ему в ноги.

— Прости, — говорит, — меня! Я тебя смутил...

Отец Тихон тоже поклонился ему и просил прощения. После обедни все служащие пили чай у отца игумена; и вдруг он опять при всех говорит:

— Я нынче смутил отца Тихона! — и ушел в свой кабинет.

Братия пождали-пождали его некоторое время и, не дождавшись, так и ушли. Вечером отец Тихон служил всенощную. Только

что он хотел возгласить: «Благословен Бог наш» — входит в алтарь отец игумен и опять кланяется ему в ноги. Отец Тихон тоже ответил земным поклоном, но заметил, что отец игумен смущен и на каждение отвечает невниманием. Так целую неделю молча кланялись они друг другу: сперва отец игумен, потом отец Тихон. Наконец, окончив свою седьмину, отец Тихон пошел к отцу игумену и просил объяснения — в чем дело? Тот даже обрадовался: «Давно бы так!» — говорит.

— Да я ничего на совести не чувствовал, и все удивлялся, что вы — настоятель, а кланяетесь... — ответил ему отец Тихон.

Примирение состоялось. И вот опять начались допросы: как отец Тихон узнает сокровенное?

— Батюшка! — отвечает отец Тихон, — я и сам узнаю в то время, как говорю вам, из тех же своих уст. О чем говорят они — я слышу и верю им. Сам же про себя знаю только, что ничего не знаю.

Бог ведает, верил ли отец игумен объяснениям отца Тихона, но только последний не переставал чувствовать, что отношения к нему отца игумена делаются ненадежными. И вот неожиданно приходит из консистории

указ: отец Тихон вызывается в Казань и назначается казначеем архиерейского дома.

Как громом это поразило отца Тихона. Не хотелось ему покидать уединения пустыни и снова жить в городском шуме. Он поехал в Казань, но с твердым намерением — не позднее двух месяцев вернуться в Раифу. Так и отцу игумену сказал; и передавая ему ключи от своей кельи, просил сохранить ее за ним.

Взяв с собой лишь самое необходимое, отец Тихон отправился в Казанский архиерейский дом. Прожив там несколько дней, он встречает раифского казначея отца Д. и просит передать отцу игумену на словах, что не теряет надежды освободиться от нового назначения, но пока нуждается в теплом подряснике, каковой и просит переслать ему в Казань.

Отец казначей, страшно боявшийся, как бы отец Тихон не перехватил у него настоятельство в Раифе, увидев отца игумена, передал ему просьбу отца Тихона в таком виде, что он просит прислать ему все вещи, так как житье ему в Казани нравится, и говорит: «Слава Богу, что так случилось — я-де теперь понасолю отцу игумену».

Тем временем отец Тихон, ничего не знающий об этой лжи, сидит у окна своей кельи в архиерейском доме. Идет дождь. На двор въезжает какой-то мужик с возом, и, немного погодя, в келью отца Тихона входит промокший возница, подает записку отца игумена и говорит:

— А я тебе вещи привез! Только промокли они — дождь был, покрыть нечем было, да и грязью забрызгались...

Как огнем опалило отца Тихона это неожиданное известие. Стал читать записку отца игумена: «Летай-летай, но знай — куда сесть!» Значит, ни за что, ни про что — изгнание из пустыни?.. Больно стало отцу Тихону... Он написал отцу игумену ответ и высказал ему эту боль от незаслуженной обиды. Но делать было нечего — пришлось оставаться пока в Архиерейском доме. Однако ненадолго: отец игумен в свою очередь обиделся на письмо отца Тихона и, опасаясь, как бы отец Тихон не стал ему вредить, пользуясь близостью ко владыке, добился нового перевода отца Тихона в Седмиезерную пустынь.

Положившись на заступление Царицы Небесной, подчинился отец Тихон воле Божией и, после месячного служения в Архиерейском доме (7 октября — 7 ноября

1883 года), отправился в новое свое пристанище — Седмиезерную пустынь.

Седмиезерная пустынь

Седмиезерная пустынь — новое местопребывание отца Тихона — это третьеклассная общежительная пустынь, имевшая в описываемое время около 100 человек братии; наместником был архимандрит Виссарион — человек редкой доброты и скромности, пользовавшийся в Казани общим уважением. Приглядевшись к новому своему иеромонаху, он, как опытный начальник, сразу заметил в отце Тихоне достоинства, необходимые для всякого монаха: твердость настроения и мягкость обращения со всеми; и потому не прошло и года со дня переселения отца Тихона, как отец Виссарион уже сделал его братским духовником, а затем и благочинным. Насколько твердо он уверен был в способности отца Тихона поддерживать порядок и благочиние в монастыре, видно из того, что он и самому отцу Тихону говорил:

— Не бойся, говори и указывай смело! Твои слова — мои слова, одного направления и одного духа!

И братии он внушал беспрекословно подчиняться новому благочинному и предупреждал, что за непослушание отцу Тихону он будет наказывать, как за оскорбление своего наместника.

И отец Тихон старался оправдать такое доверие своего настоятеля. Он держал братию, особенно послушников, в твердом порядке, но почти не прибегал к мерам строгости; да и не было нужды в этом: слова вразумления отца Тихона были настолько действенны и сильны, что в большинстве случаев нарушители порядка раскаивались и исправлялись в поведении, а упорные уходили из монастыря сами. Конечно, отцу Тихону как благочинному много помогало и его положение духовника: на исповеди он старался уврачевать духовные язвы каждого брата, прежде чем от них начинался вред для обители. И удивительно: несмотря на совмещение должности духовника и благочинного, то есть духовной власти с чисто внешней, отец Тихон пользовался большим доверием братии; они не стеснялись его и приносили ему искреннее покаяние. Это говорит о том, что отец Тихон имел большой нравственный авторитет человека весьма справедливого, милосердного,

и главное — верного, которому можно не опасаясь доверить всякую тайну души.

Одновременно отец Тихон нес чреду служения в монастыре и заведовал провизией для братской трапезы. Кроме того, как хорошего иеромонаха, его часто посылали с чудотворным Смоленско-Седмиезерным образом Божией Матери в крестные ходы.

При этом Господь удостаивал его быть свидетелем многочисленных чудес от святой иконы Богоматери. Прозревали слепые, исцелялись не владевшие руками и ногами, делались здоровыми бесноватые, для многих являлись какие-либо особые милости Божии и благословение Царицы Небесной. Конечно, народ узнавал об этих чудесах, усиливал свою веру в милосердие Божие и умножал свои молитвы к Пресвятой Деве. Многие застарелые грешники и раскольники всенародно каялись и делались истинными чадами Церкви Христовой. Такие явления не оставались без влияния и на прочих, так что где проходил чудотворный образ Богоматери, там оставалась полоса молитвенной теплоты, покаяния, утешения, благодатного подъема духа, и при этом — еще чудеса! Конечно, и сам отец Тихон, и все сопровождавшие

его послушники тоже участвовали сердцем в этом молитвенном труде народном и чувствовали подъем духа и благодатное обновление. Отец Тихон в это время весь загорался духом и среди совершавшихся чудес был как в родной стихии.

Возвращаясь в обитель после крестных ходов, отец Тихон приносил с собою не рассеяние духа и воспоминание о мирской суете, как это обычно бывает, а умилительные впечатления близости и благости Божией, святые воспоминания о чудесах и исцелениях; отдыхая от трудов физических, он не переставая думал о том, как бы и самому приблизиться к Богу, как бы приобрести в душе такую энергию, которая бы двигала и направляла все силы и помыслы души к Одному Богу, и в чем эта сила — в вере, в надежде?

— Да, — говорил он, — верить и надеяться необходимо, и это легко — верить и надеяться! Но без дел эти вера и надежда — мертвы, безжизненны! И потому это — тоже не энергия. Думаю: энергия эта заключается в любви, которою все движется. И сам Бог — *любовь есть.* А человек создан Богом, и создан по образу и подобию Бога же! Поэтому энергия любви может упразднить

всякое зло — и во всем человечестве, и в каждом отдельном человеке. Необходимо иметь любовь, и зло упразднится!

Остановившись сердцем на этом решении, отец Тихон весь был охвачен пламенным желанием стяжать эту евангельскую любовь — святую, бескорыстную и чистосердечную любовь к Богу — *боголюбие*. Ему хотелось пожить без всяких греховных мыслей и чувств — в одной чистой любви к Богу, хотя бы лет десять... И он стал просить у Бога дать ему возможность к стяжанию дара любви, стал просить себе пострижения в схиму или даже болезни, так как ему казалось, что болезнь устранит его от всякой суеты и сделает невольным затворником для жизни со Христом и по любви ко Христу Богу.

Вот однажды отец Тихон идет коридором в храм Смоленской иконы Божией Матери и все раздумывает: «Как спастись?..» И вдруг слышит он — какой-то голос отвечает на его мысль:

— Вот ты заболеешь! Кстати, ты любишь лежать... Тебя постригут в схиму, и тогда спасайся по твоему желанию!

Вздрогнул отец Тихон, осмотрелся кругом — никого нет — и удивился... Прошло

после этого месяца два; отца Тихона послали в крестный ход с чудотворным образом. Ходил он месяца два с половиной, и в это время совершенно забыл о том, что предрекал ему таинственный голос. На одном переезде их монастырский тяжелый возок застрял в снегу, в небольшом овражке. Лошади бьются, берут не враз, вытянуть не могут. Долго так сидели в открытом поле. Наконец отец Тихон вышел из возка, зашел сзади и поднял его на руки, а коленом толкнул вперед — и возок вытянули. А в нем было 50 пудов! Но отца Тихона точно обожгло внутри — около сердца, и тотчас потемнело в глазах. Кое-как сел он в возок, почувствовал себя больным, разбитым, но почему-то ему сильно захотелось есть. Приехали к зажиточному мужичку-землевладельцу на ночлег, а он, как нарочно, похвалился хорошими маринованными груздями и предложил их на ужин. Отец Тихон очень любил грибы и с радостью согласился покушать. Но только первый же груздь, который он стал есть, поразил его и странным сладковатым вкусом, и странным жжением во рту и желудке. Отец Тихон все-таки взял второй гриб, а потом и третий... И вот тут-то и произошло нечто ужасное.

В желудке и пищеводе у него стало жечь, как если бы он проглотил раскаленный уголь, язык онемел, и с него, как чулок, сошел кусок белой кожи; губы и рот спалило, и оттуда тоже сползла кусками кожа, обнажая подкожные кровоточащие слои... Оказалось — грибы у мужичка были замаринованы в неразведенной уксусной эссенции!

Начало многолетней болезни и плоды терпения

В обитель отец Тихон возвратился живым все-таки, но тяжко больным; он не мог ни пить, ни есть. Через некоторое время он оправился немного от желудочных ожогов и даже стал было выходить за монастырскую ограду, но это продолжалось очень недолго. Однажды он в ограде же упал в обморок от сильного сердцебиения. Его на руках отнесли в келью. Придя в себя, он тотчас пригласил духовника и принес ему покаяние во всех грехах от самой юности; затем приобщился Святых Христовых Таин и пожелал еще собороваться. С этого времени началась у отца Тихона та пятилетняя болезнь, о которой он вспоминал в течение

всей последующей жизни с величайшим умилением. Сначала его положили на левый бок; в этом положении он пролежал полтора года, не вставая и не поворачиваясь; потом положили на правый бок, и на нем отец Тихон тоже пролежал полтора года; и, наконец, на спине лежал еще два года. Итого — пять лет!

В продолжение первых трех лет отец Тихон был еле жив, и умирал каждый день по три, пять и более раз от слабости сердца. Но духом он был весьма бодр и радостен. Он видел, что Господь дает ему не только болезнь, но и силу переносить страдания — терпеть болезнь как средство к очищению грехов. И потому отец Тихон радостно принимал болезнь как дар Божий, как послушание и дело, которое дается ему ко спасению души и славе Божией. Он радовался тому, что уже невозможно более грешить, что устранен от всякой суеты и пристрастия... Но ему казалось, что он не успел сделать ничего доброго и святого; это ему было очень горько сознавать, и он плакал слезами сокрушения и покаяния. Сладко ему было утопать в этих слезах, ибо он все яснее познавал, насколько благ и преблаг Господь к миру и к нему самому; и тогда

чувства покаяния сменялись живительными чувствами радости и благодарности Богу за Его неизреченную благость и спасение. Отец Тихон тогда чувствовал себя уже не на одре болезни, а как бы песчинкой в колыбели Божественного милосердия, которую покачивал и утешал Сам Создатель... И дух отца Тихона утопал в море радостной преданности и благоговейной уверенности в Боге. Сердце его, такое слабое, еле движущееся, начинало оживать от этих мыслей и чувств и возвращало к жизни почти умирающего отца Тихона. Ибо и при всех обмираниях сознание и рассуждение не отступали от отца Тихона, и он, например, отдавал себе ясный отчет в том, кто из окружающих и как относятся к нему даже тогда, когда его считали уже умершим.

Бывало, доктор скажет: «Ну, отмаялся старец... умер!» — а келейник — послушник Иосиф, который с любовью ухаживал за болящим своим аввой — начнет сокрушаться и плакать: он один жалел старца; а некоторые даже радовались предполагаемой кончине его, ибо желали занять его должность и келью. И отец Тихон, видя эту черствость и сердечную окаменелость людей, страдал вдвойне: от своей болезни

и за них — за их отдаление от Бога. Но эти страдания его были уже святые, а не страдания от страстей и грехов. От каждодневно умирающего отступили все страсти, и потому отец Тихон наслаждался свободой от мучительства их. И за эту свободу он бесконечно благодарен был Богу, так что с каждым днем начинал все более любить свою болезнь, несмотря на всю ее мучительность, ибо она была и выкупом за грехи, и в то же время — какой-то наградой, так как несла с собою и духовную свободу, и явление великих милостей Господних.

Однажды отец Тихон видит на западной стороне неба меч весьма больших размеров. А внутренний голос поясняет ему:

— Западная сторона — это значит, что жизнь твоя приблизилась к смерти, вот ты видишь над собою в воздухе и меч! Кайся!

Исчезло это видение, и на том же месте явилось новое: видит отец Тихон Спасителя, распятого на Кресте. Из бесчисленных ран Его истекает множество пречистой Крови, и вид Его до крайности истомленный. Возле Креста молитвенно предстоит Божия Матерь и тоже в состоянии чрезвычайно томительном. Спаситель как бы менялся в Своих положениях на Кресте:

то выпрямится во весь рост, то, изнемогая в страданиях, обвиснет на руках и согнет колени... Это видение постепенно сменилось облачком, которое окружило Божию Матерь, и Она стояла уже на воздухе с омофором в руках; а на земле стояла матушка отца Тихона и молилась Царице Небесной. И опять голос внутренний поясняет:

— Видишь, насколько долготерпелив и многомилостив Господь! Сколько тобой нанесено Ему скорби! Он всего Себя истощил ради тебя, по молитвам Пречистой Богоматери. Вот и родительница твоя умоляет Ее за тебя. Кайся и ты! И терпи, как бы ни было тебе тяжело — с радостью терпи!

И это видение окончилось; явилось третье: два аналоя; на одном скрижали, на другом — крест и Евангелие. И снова отец Тихон получает разъяснение:

— Кайся! Ты обещал принять схиму — прими, и храни скрижали — ведь у тебя старые разбиты!

Отец Тихон вспомнил, что он действительно обещал принять схиму. При первой же возможности доложил отцу наместнику о своем давнишнем желании принять схиму и просил исходатайствовать ему разрешение Казанского владыки архиепископа

на пострижение. Ходатайство это, ввиду тяжелого болезненного состояния отца Тихона, было немедленно уважено (5 октября 1892 года), и вот состоялось редкое в наши дни пострижение отца Тихона в схиму. Он пожелал получить прежнее свое имя — в честь Архангела Гавриила, и, лежа на одре, с великою радостью, умилением и трепетом духовным соделался новопостриженным иеросхимонахом Гавриилом.

Еще задолго до болезни отец Гавриил положил: думать только о Боге, говорить о Боге, писать о Боге; а когда заболел и особенно когда постригся в великую схиму, то уже паче всего старался всеми силами души жить для Бога и в Боге.

— Ведь ближе Бога к нам никого нет, — пояснял, бывало, он это свое стремление, и прибавлял со вздохом: — О, если бы все это знали! Тогда забыли бы и о мире, и о страстях, даже и о самих себе!

Сделавшись схимником, ежедневно умирающий отец Гавриил как бы ушел совсем от всего внешнего мира в свой внутренний, сердечный мир и, обретая там Бога в великих милостях и благодатных чувствах своих и переживаниях, проникался любовью к Нему, сгорая в чувствах покаяния

за соделанные грехи и, получая прощение в них, еще сильнее чувствовал неизреченное милосердие Христово к себе, глубже зрел свое убожество и немощь духовную и телесную. И нечем ему было воздать — возблагодарить Бога... Оставалось только сладко плакать в утешительном умилении пред величием благости Божией и паки каяться и оплакивать свои грехи, которыми мы как бы отталкиваем от себя эту любовь и оскорбляем ее. И батюшка каялся, каялся всегда и неотступно, припоминая все когда-либо соделанные грехи свои. Вместе с тем он старался чаще приобщаться и Святых Таин Тела и Крови Христовых. После приобщения он чувствовал силу и бодрость духа и ясно опознавал пришедшую в него силу благодати Святого Духа. Она привлекала сердце его к любви Божией, вселяла боголюбие и, отрешая ум от мира, наполняла его дивными созерцаниями и молитвенными озарениями.

Дар боголюбия

Получив этот божественный дар — боголюбие, батюшка уже не мог даже слышать равнодушно и тем паче произносить

слово «Бог». Он весь загорался сердцем и от прилива любви ко Господу Спасителю неудержимо проливал сладкие слезы умиления и благодарности. Сладчайшее имя Божие было постоянно в уме и сердце и в буквальном смысле вливало жизнь и силу в еле дышащий организм батюшки. Поэтому батюшка старался тогда всемерно удаляться от людей, чему содействовала, конечно, и тяжелая болезнь, при людях же замыкался от всего видимого мира внутрь своего сердца, как в скорлупу, которая удобно скрывает в себе зерно, и неизвестно — хорошо оно или гнило; но зерно живет, как за стеной. Так и сердце человека глубоко: сокрыто оно от людей, сокрыто и от демонов, — иначе никто бы не спасся из людей.

Увлекаемый сладостью боголюбия и живительной силой его, батюшка старался во всем победить себя для Бога и достичь полноты самоотречения.

— Долго я ломал себя — все не удавалось... Ну, наконец, сломил... — говаривал он впоследствии.

К сожалению, осталось неизвестным: что же именно он «сломил» внутри своего сердца, после чего как бы пала, сдалась вся

крепость душевной самости и исчезли все внутренние препятствия к любви Божией? Пути духовного преуспеяния в живительных лучах этой творческой любви сделались для него как бы гладкими, спокойными и вполне ясными. Для духовного взора батюшки и вообще вся жизнь стала простой — о Господе; не было никаких сомнений, колебаний, запутанности. Окрепла вера в Бога — до полной несомненности; надежда ободряла предвкушением будущих благ, особенно блаженного бессмертия в Господе и с Господом, неизреченная любовь Которого всесовершенно восхищала сердце и мысли батюшки от мира видимого к горнему. Этому сопутствовали и разные дивные проявления Божией благости. Нередко, например, после приобщения Святых Христовых Таин батюшка ощущал присутствие благоухания. Не будучи в силах скрыть своей радости, он призывал своего келейника и спрашивал:

— Слышишь ты благоухание?

— Не верьте, батюшка! Ведь вы больной... Нет, я не слышу, да и нет никакого благоухания...

— А потому ты не слышишь его, что читал роман, и тебя окружает дух бесовский...

Плохо тебе будет! Ты оскорбляешь Духа Божия со своими романами! Прошу тебя: оставь их, не читай!

Келья батюшкина находилась по общему коридору — на пути в соборный храм, и потому братия, идя к утрене в четыре часа утра, попутно заходили навестить больного, но всегда благодушно бодрствовавшего батюшку. Почти ежедневно заходил добрейший отец Виссарион (наместник); часто бывали и другие отцы. Один из них, отец Епифаний, ощутил благоухание в келье батюшки и тотчас обратился к келейнику:

— Оська, ты чем надушил старца? Боже мой! Какие, должно быть, дорогие духи! Как хорошо пахнет!

По его уходе батюшка тоже спросил келейника:

— Ну, что теперь скажешь?

Зарыдал Иосиф и земно поклонился пред одром батюшки:

— Простите! Помолитесь!

Вскоре зашел еще один монах — отец Авенир, который сам любил душиться. Он тоже обонял непонятное благовоние в комнате старца и также обратился к келейнику с вопросом: где и по какой цене куплены такие прекрасные духи?

— А я, — вспоминал батюшка, — лежал разбитым, подобно оному впадшему в разбойники... Но я был причастником Животворящих Тела и Крови Христовых; и вот *«Дух животворит»* и все мы слышим Его благоухание своим обонянием. Он, подобно евангельскому самарянину, поливает на раны впавшего в разбойники вино и елей Своей благодати.

Однажды благоухание в келье батюшки почувствовал давно лечивший его доктор М. Е. Ф-в. Это был человек, не задумывавшийся над вопросами веры и спасения, и потому склонный давать всем явлениям жизни «естественное» объяснение. Он тоже нашел, что пахнет дорогими духами. Но батюшка ему прямо сказал, что это — не духи, а просто благоухание Святых Даров, которыми он только что до прихода доктора приобщился.

— Ах вот что! Вероятно, очень хорошее вино? Интересно: где оно куплено? Я бы с удовольствием купил... Очень хорошее вино! А почему вы часто приобщаетесь? Боитесь умереть?

— Нет, я не боюсь смерти, или не стал ее боятся... И это именно потому, что я приобщаюсь.

Но доктору непонятны были слова о Приобщении. Он затевал разговор: был ли Христос? И был ли Он истинный Бог или только гениальный Человек? И нельзя ли Его чудеса, например, воскрешение умерших, объяснить естественным образом — наподобие того, как доктора оживляют мнимо умерших, в летаргическом сне?

Батюшка на все эти возражения давал свои ответы, а чудом воскрешения *смердящего,* уже разлагавшегося Лазаря припирал доктора так, что он соглашался признать: если это чудо было, то оно, действительно, может свидетельствовать о Божестве Иисуса Христа.

— Михайло Егорович! А в бытие злых духов — демонов — вы верите?

— Ну, знаете... Плохо верю!

— Я прошу вас: прежде всего освидетельствуйте меня — найдете ли вы меня умственно нормальным?

Доктор, улыбаясь, говорил, что находит батюшку совершенно в светлом уме; «а вот тело и, в частности, сердце — слабоваты».

— Так вот что, — начинает батюшка, — сегодня в шесть часов вечера мне было тяжело дышать, и при таком состоянии моем явились ко мне нечистые духи, демоны...

— Ну, это — галлюцинация! — перебивает доктор.

— А я думаю, что — нет: это демоны... Потому что они меня устрашали, говорили, что-де «нет Бога, и ты — наш! Ты погиб!» А я им отвечаю: «Нет! я не ваш, я не погиб! Я верю, что Спаситель возьмет и примет меня к Себе...» — «Ха-хо-ха! — загоготали, — да Его и нет, и Бога нет!» — «А если Бога, — говорю, — нет, то вы-то зачем? Откуда явились? Если бы Бога не было — не было бы и вас! Вы лживы, вы — ложь воплощенная, вы — лукавые! Убирайтесь вон от меня! Я верую в Бога, и Им спасусь!» — «Ха-ха-ха... — куда полез! Да ведь ты — грешник!» — говорят они мне. «Да! — отвечаю, — я грешник, но по вашему же внушению! Но я приносил покаяние, и грехи мои отпущены духовником!» — «Да ты каялся нечисто; то одну, то другую причину выставлял, извинял себя и оправдывал пред духовником!» — «А это, — говорю им, — если и было что, то — от стыда, при сознании великости греха стыдился и я. Но и этот стыд и страх пред духовником внушали вы же, демоны — старались удержать свою жертву и погубить меня! И теперь явились застращать меня... Нет! Я верую и исповедую Сына Божия Иисуса Христа, Который

“пришел в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз...”» И начинал я молиться и взывать ко Господу: «Господи! Спаси меня!» А демоны опять издеваются: «Ишь ты! Лезет куда! Грешник!» А я опять: «Угодники Божии! Помогите мне избавиться от нападений бесовских и клевет их!» А бесы кричат: «Нет, нет! Ты погиб!» — «Нет, — говорю, — я в теле еще! Я могу покаяться — не погиб!» Тут бесы открыли мне все грехи мои, ясно я увидал все свои грехи — даже и те, которые я и не считал за грехи. «Вот они! Вот они! Видишь?.. Не твои это грехи?» — наседают на меня нечистые. «Вот точно такими же были и твои угодники — грешники они!» И вдруг при этих словах их я как-то воодушевился и говорю им твердо: «Как? Угодники были такими же грешниками, как и я?! Они спаслись, а мне спасения нет?! Я — в теле еще, и могу покаяться! Нет, я жив, и есть мне спасение!» А бесы в это время как бы растерялись... Я же припомнил, как в прошлое время молился Божией Матери — вперед просил Ее защитить меня при часе смертном, когда уже не в силах буду и молиться. Вот это прошение свое я тут и вспомнил, и обратился к Заступнице всех страждущих с воплем: «Что же, Владычице?!

Ведь время настало защитить меня от силы бесовской! Ведь я просил Тебя об этом...» И сию же минуту бесы затрепетали от испуга, крикнули враз: «Идем!..» — и бросились бежать чрез мое зальце. А там, на столе (его и теперь можете видеть), была тарелка; демоны подняли ее и со всей силой ударили об пол. Тарелка разбилась и рассыпалась на мельчайшие частицы. Ну, об этом что скажете, Михайло Егорыч? Разве это не вещественное доказательство?.. И еще продолжу: когда пришел мой келейник Иосиф — увидал разбитые черепки и спрашивает меня: «Кому это помешала тарелка?.. Кто у вас был?»

Доктор был поражен и удивлен.

— Конечно, — говорит, — было что-то выдающееся из ряда вон; это — не галлюцинация...

По удалении бесов батюшка тотчас послал за духовником — отцом Епифанием и, под свежим впечатлением страшной картины обилия всех записанных и объявленных бесами грехов, принес глубокое покаяние в них Богу. Впоследствии батюшка говорил, что если бы он не имел веры в Спасителя или поколебался бы в ней — непременно умер бы от отчаяния и страха

бесовского. Но по этой вере Господь сохранил его и спас, а бесы от одного имени Матери Божией бежали в ужасе, с бранью и хулами. Они, по Божию содействию, невольно даже помогли батюшке освободиться от всех грехов и быть глубоко спокойным, мирным и радостным о Христе.

Явление бесов, однако, побудило батюшку еще тщательнее следить за собою и замечать всякое возникновение чуждого спасению помысла. При свете непрестанной молитвы и благодатного умиления эти мысленные движения виделись совершенно ясно, как враги, которых батюшка и побивал именем Иисуса при самом их возникновении. Но тем не менее он в самом появлении этих помыслов видел указание на свою немощь, плакал о себе, каялся и все усиливал свое покаяние — и так до самой смерти своей. «Это покаяние есть дар Божий», — говорил он. Вместе с тем гнусный вид бесов и ужасное впечатление от них послужили поводом для батюшки еще более задуматься о переходе в вечность и о страшном истязании души от бесов на мытарствах. Чем оградиться от них? Как приобрести помощь Христову и заступление Царицы Небесной — столь страшной для бесов

Заступницы нашей? Батюшка начал молиться и просить Бога о помиловании в смертном исходе своем и, как бы в ответ на эту молитву, стал чувствовать, что вера его стала крепнуть, явился и жезл надежды на спасение, в душе, сердце водворилась любовь и переживалась каким-то горением, которое согревало молитву и все мысли и чувства устремляло только к Богу. Уже не нужно было напрягаться для собирания к Богу ума и чувств: любовь скрепляла их с Богом, окрыляла силы их и созерцательною силою ума — свободно, без напряжения! — возводила к степеням высшим. «И приходил я от этого в большое удивление», — писал батюшка.

В это время он был еще слаб и все еще продолжал умирать три-четыре раза в день. Но страх смерти начал растворяться уже надеждой на Божие милосердие, ибо батюшка чувствовал любовь Божию к себе, видел ее во всем, и сам в себе чувствовал ее к Богу. Но готовясь к смерти, батюшка опасался того, как бы не разлучила она от этой любви к Богу, как бы новость впечатлений при исходе души не развлекла ум и не устрашила его... Поэтому, имея дерзновение к Богу по любви к Нему, он стал просить у Бога

показать ему: как душа исходит из тела. И исполнилось слово пророка: *«Волю боящихся Его сотворит и молитву их услышит»* (Пс. 144). Однажды действительно душа батюшки вышла из тела, и тело лежало бездыханным, мертвым... «И я, — вспоминал батюшка, — смотрел на него, как на постороннее, как на обычного мертвеца...»

Присутствовавшие в келье говорили:

— Отмаялся старец... Кончился...

Чистая же душа батюшки в это время, хранимая особым Промыслом Божиим, не видела ужасных бесов, а видела ли Ангелов Божиих — батюшка не говорил ничего. Говорил только, что душа от единого движения воли и мысли тотчас переносилась в то место, куда желала, и что свободы движений ее не стесняли никакие материальные предметы на земле (например, стены дома) — они казались какими-то прозрачными или несуществующими, хотя и сохраняли свой вид и очертания. Не сообщил также батюшка и того, где именно витала душа его в эти минуты... Но заканчивал он свой рассказ так:

— При виде мертвого, бездыханного тела жаль стало моей душе своего тела... Я стал обнимать его, чтобы согреть и воскресить;

стал дуть в уста тела — и слышу: в устах моих шум, как бы ветерок... И я опять стал одним человеком — в теле, и опять уже болел, по-старому, как прежде.

Но вся болезнь была каким-то училищем благочестия, школою богословия и лествицей молитвенных созерцаний. Тело болело, страдало, умирало; дух же горел любовью к Богу, и эта любовь творчески оживляла и самое тело, питая ум и поддерживая свет рассуждений в нем.

Чудесные созерцания по молитвам старца

Господь же в милости Своей шел навстречу жаждущей Его душе и Сам утешал ее неизреченными утешениями в молитве, видениях и созерцаниях. Эти видения тоже соответствовали желанию батюшки приготовить себя к достойному переходу в вечность.

Так, однажды батюшка видит, что его несут по пространству какой-то прекрасной равнины к полдню, на солнечную сторону. Тепло ему чувствовалось и хорошо... Приблизились к высокой горе. На горе

стоит какая-то поразительно красивая постройка, как бы из разноцветных стекол или прозрачного хрусталя, и вся блестит и переливается на солнце разными цветами радуги, а воздух чем ближе к горе, тем приятнее; чувствовалось даже что-то питающее в этом воздухе, какое-то неземное насыщение от него. Вот и самый город. В нем все здания тоже светятся, горят, переливаются цветами и прозрачны, как хрусталь, и все — чудной красоты. Кругом же — множество дивных цветов, прямо-таки — видимо-невидимо, и множество пальмовидных деревьев, всевозможных сортов и красоты, и конца им не видать... Тут батюшка шел уже сам, а навстречу ему выходили хоры певчих — их целые миллионы, пели все так сладко, так упоительно; и все они были как бы одних лет, так, лет около тридцати трех, не более, и все очень чистые, светлые. У батюшки в руках был кошелек с серебряными деньгами, и он хотел было отблагодарить ими певчих, но ему сказали:

— В нашей обители этого не принято делать.

Затем кто-то батюшке сказал, что скоро придет епископ и определит келью

для его помещения. Действительно, пришел и епископ и указал батюшке две прекрасных кельи:

— Это для тебя, — говорит, — приготовлены.

В то же время стали собираться схимники-старцы. Первый из них — среднего роста, с клинообразной седой бородой, спрашивает батюшку:

— Что ти есть имя, брате?

— Иеросхимонах Гавриил грешный...

— Христос посреди нас. Спасайся и молись! Схимник — очень молодой!..

Батюшка ответил:

— Архиепископ разрешил постричь — меня и постригли в схиму.

— Да, — говорит схимник, — архиерей любит тебя...

Этого старца батюшка видел очень ясно — как днем.

Потом стали подходить другие схимники, но уже менее ясные, а последние были как тени. После всех подошел эконом и сказал батюшке:

— Вот видишь — какие у тебя будут кельи. Но пока придется тебе подождать. Ты будешь помещаться в других кельях. Ты принят — живи! Тебе здесь хорошо будет. Пиши

всем, кому знаешь; пиши все, что видел здесь.

На этом видение кончилось. Вскоре же зашел к батюшке архимандрит Виссарион. Батюшка передал ему все свое видение, а отец Виссарион, выслушав, предложил отслужить панихиду по схимонаху Евфимию. Батюшку на руках перенесли в Вознесенский храм — к гробнице схимонаха Евфимия и положили на приготовленную койку, а отец Виссарион соборно с братией отслужил панихиду. После нее батюшку опять же на руках отнесли в келью. И удивительно — после этой панихиды он стал понемногу поправляться. Но радоваться этому он не смел: боялся опять погрешить, и поэтому даже беспокоился за будущее и ничего у Бога не просил, дабы все было по Святой Божией воле, а не по его желанию. Потому боялся просить сам, чтобы Господь исполнял все его молитвы и все устраивал по просьбе его... К этому батюшка впоследствии добавлял:

— Господь исполняет прошения и молитвы любящих Его, ибо они и просят только того, что угодно Ему, и желать чего-либо иного не могут, то есть несогласного с Его святой волей.

Впечатление от описанного видения было, видимо, очень сильное; по крайней мере батюшка сам говорил, что он стал потом часто задумываться о Горней Обители райской, о красоте ее, и загоралось сердце его желанием быть там. Может быть, именно в ответ на это желание Господь сподобил батюшку нового видения, в котором заключалось и объяснение: почему ему надо еще жить в теле, на земле. Видение это батюшка описывал так:

— Вижу я нашу Седмиезерную пустынь, что она со всех сторон и на всем пространстве — насколько я мог видеть в широту и в высоту — по всему воздуху, начиная от земли, окружена рядами умерших. Мне казалось, что покойники стояли, наклонив ко мне головы, как бы чего-то прося у меня. Выше их, тоже рядами, стояли праведники, и прямо скажу: все воздушное пространство переполнено ими. Тут — преподобные и монашествующие, повыше — мученики и мученицы, тоже рядами; и еще выше — священноиноки, святители, апостолы, пророки... На самой же высоте — огненное, светло-эфирное ласкающее пламя, и взоры всех обращены к нему. Из святых кто-то спросил: «А что: нужно ли нам взять к себе

иеросхимонаха Гавриила?» Вот послышался голос из рядов святительских, и именно — святителя Тихона Задонского, голос которого я слышал ясно и видел его самого: «Нет, рано еще! Он обещал молиться об умерших — пусть помолится!» А мне жалко было расставаться с великим множеством святых, но я чувствовал себя недостойным этого... Многих из представившихся мне покойников я узнал: тут были давно умершие родные мои, о которых я давно уже и забыл. После сего видения я сию же минуту записал всех их имена и стал помнить и молиться по силе моей, сколько мог. Но вот к вечеру, уже при закате солнца, когда я лежал лицом к зальной двери, вижу я: старец в схиме, поверх которой, как покров, накинут саван... Я узнал: это был покойный иеросхимонах Савва (Оптинский)... И лицо у него — грустное, как будто он в какой обиде... И мне тотчас стало понятно, что я его не записал почему-то в свой помянник... И страшно мне стало — видеть пред собою покойника... И я тут же вслух помянул: «Помяни, Господи, раба Твоего иеросхимонаха Савву и упокой его со святыми!» И тотчас видение поклонилось и как бы растаяло, подобно облаку.

Несмотря на улучшение сил, батюшка все-таки был еще очень слаб. В одну ночь ему было особенно тяжело, и казалось, что должен умереть. Сердце останавливалось, и лежать было невыносимо: не хватало воздуха дышать... Батюшка позвал келейника и пробовал с его помощью немного посидеть, но силы покидали его и он скорее опять просил, чтобы его положили. Отец Иосиф осторожно положил и отошел. Батюшка же от утомления и слабости закрыл глаза и забылся несколько, как будто заснул, и в это время услышал, что его обвевает какой-то ветерок, освежает его лицо, наполняет комнату благоуханием. Не открывая еще глаз, батюшка стал с наслаждением вдыхать этот воздух и в то же время стал чувствовать, что этот ветерок как бы проходит внутрь всего организма, с чрезвычайно легкими и приятными мурашками по всему телу. Батюшка сначала вообразил, что это келейник надушил платок и машет на него. Но в то же время слышит совершенно ясно, что келейник сидит в соседней комнате и перелистывает книгу. Тогда он открыл глаза и узрел нечто совершенно неожиданное: белоснежный голубок в воздухе, аршина на полтора от его лица, машет своими

серебристыми крылышками на батюшкино лицо, как бы веером, и держится все на одном месте, не перелетая. И батюшка, не отдавая себе отчета, почему-то тотчас же мысленно запел: «*Отча недра не оставил и сошед на землю, Христе Боже, тайну услышах смотрения Твоего, и прославих Тя, едине Человеколюбче*». Часы в это время пробили час ночи, а он все продолжал петь: пропел великое славословие, прочитал псалом «Помилуй мя, Боже», акафист Спасителю и вообще много молитв наизусть, читал и пел до трех с половиной часов утра и все время с затаенным дыханием взирал на голубка и, наслаждаясь ароматным воздухом, чувствовал, как весь его организм освежался, отдыхал. Внизу начали уже ходить повара, прошел будильник по коридору, и голубок обратился как бы в тень — и растаял...

Жаль было батюшке расставаться с таким голубком, и стал было он усиливаться увидеть его снова: то закрывал глаза и опять мысленно пел молитвы, то открывал их, а голубка уж не было... Но в комнате еще долгое время продолжал оставаться дивный аромат, и братия, заходя к старцу, тоже обоняли его с удивлением, а некоторые

даже и осуждали батюшку: зачем позволяет келейнику душить такими дорогими духами? Батюшка же, вдыхая оставшийся аромат, стал ощущать заметный прилив сил и вообще начал поправляться. «*Дух животворит*» (Ин. 6, 63) и «*подкрепляет нас в немощах наших*» (Рим. 8, 26).

Сбылось и другое слово Писания, что «*не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих*» (Мф. 4, 4), ибо в течение трех предшествовавших лет болезни батюшка действительно ничего почти не ел. Иногда только принимал чайную ложечку толченых сухариков из булки с водой или молоком, и пил эту смесь как лекарство. В этом и заключалась вся еда. Но зато после дивных видений, после сладостной молитвы он чувствовал себя каким-то сытым, бодрым и свежим. Иногда же ощущал в желудке как бы полено, и уже совсем не мог ничего есть. На четвертый же год доктор М. Е. Ф-в начал убеждать батюшку есть хотя бы по одному яйцу в день. Батюшка и поступал так: разобьет яичко в стакан с молоком, разболтает и чайной ложечкой понемногу пьет. Так и приучился есть; а то совсем было отвык.

Однажды у старца не стало и этой пищи. Была зима, и в ближайших деревнях нельзя было достать яиц. Купить в городе было не на что. Между тем организм стал уже привыкать к питанию и требовал пищи. Батюшка впервые почувствовал себя голодным, но есть нечего было. Тогда он решил предаться на волю Божию:

— Что же? Если и помру от голода — греха в этом ведь не будет. Это не от меня зависит. Пусть будет воля Божия! Если угодно Богу — умру... А не угодно, то Он пошлет мне и пищу.

И Господь не посрамил его надежду. Приехал из Казани седмиезерский становой пристав и привез 12 штук свежих яиц — чей-то подарок ему. Вот ему и пришло на ум — подарить их старцу: «Он-де больной, ему хорошо и даже необходимо есть яйца». Становой сам и отнес их. Батюшка был и поражен, и умилен таким чудесным промышлением Божиим, и принял эти яички буквально как от Руки Божией. Это было в конце января; батюшка питался этой пищей 12 дней, а там стало уже потеплее и недостатка в яйцах не было.

В это время батюшка мог уже подняться на своей постели и немного сидеть. Доктор

стал разрешать ему прием посетителей. Сначала их было немного — главным образом свои же братия и ближайшие крестьяне. Но количество их постепенно стало возрастать до такой массы, что старцу пришлось даже перегородить двери в свою комнату особой решеткой, чтобы народ не мог теснить его. Один раз от напора народа сзади, из коридора, передние так стали теснить старца на его постельке, что чуть не задавили его. После этого случая и сделали решеточку. Народ подходил к ней, слушал слова старца или его ответы на отдельные вопросы, принимал благословение и уходил. Почти всегда так толпились. Но батюшка начал уставать от разговоров, и тогда взамен собственных речей стал раздавать посетителям листочки религиозно-нравственного содержания. Эти листочки обычно он клал под свою подушку и, не выбирая, давал как раз тот, какой по содержанию подходил к духовным нуждам вопрошавшего. Иногда приходили и просто любопытные: им кто-то сказал, что батюшка лежит в гробу и что даже можно купить такую фотографию с него. Батюшка, узнав об этом, весьма удивлялся и нелепости такой клеветы, и легковерию людей.

Батюшке не хотелось смотреть на приходящих к нему — он боялся отвлечения от боголюбия, поэтому он говорил с ними, стараясь не открывать глаз. Но хотя посетители и молчали, мысли их слышались батюшке, как разговор с ним. Когда такой случай произошел в первый раз, посетители пришли в испуг и в изумление, а батюшка все продолжал отвечать на их мысли; те даже заплакали. И стал батюшка догадываться, что они не говорят, потому уже только, что, когда откроет глаза, видит, что уста их не шевелятся, а между тем слова их он продолжает слышать. После этого случая батюшка стал остерегаться открывать свой дар людям и, прежде чем отвечать, внимательно приглядывался: действительно ли его спрашивают словами. Таких случаев было немало. Вообще же, как и сам батюшка говаривал, в это время для него все было как-то ясно — даже и имеющее совершиться: например, он знал, кто должен прийти к нему. Бывало, велит своему келейнику:

— Иосиф! Умой меня да переодень на мне белье... Да и в комнатах прибери.

Иосиф удивляется: для чего это?

— Придут гости (такие-то)!

И действительно: едва успеют прибрать, как уже приходят те именно люди, каких ожидал батюшка. По этому поводу батюшка писал:

— В этом познавалось, насколько высока и ценна чистота души. Тогда только, когда душа отрешена от всего суетного и греховного, как бы завеса какая спадает с ее душевного ока, и вот она прозрела и видит то, что прежде не было для нее ясным и чего не видит занявшийся суетной жизнью мир. И как верно слово Евангельское: *«Они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи»* (Мк. 4, 12).

В стремлении иметь чистоту сердца и поддерживать ее батюшка все время старался припоминать свои прежние грехи, каялся в них духовнику и часто приобщался Святых Христовых Таин. От этого он всегда чувствовал себя бодрее, жизнерадостнее и свободным от всего мирского. Одновременно и здоровье постепенно прибывало. Батюшка мог уже сам подыматься и сидеть в постели, мог читать книги и писать. Для писания ему сделали даже небольшую дощечку: он клал ее на согнутые колени, сверху нее клал бумагу и карандашом

писал. В этих записях выразилась вся высота его душевнаго состояния того времени и сила любви к Богу. Много было им написано. Часть этих бумаг находится и теперь у разных лиц, а часть батюшка сам уничтожил — сжег, после того как, читая творения святых отцов-подвижников, заметил, что многое из написаннаго у него оказалось повторением уже сказаннаго святыми отцами и особенно (кажется) прп. Исааком Сирианином, хотя он в то время еще не был знаком с ними.

Рассказывая об этом странном совпадении, батюшка между прочим припоминал, что и в Москве у него раз был почти подобный же случай. Познакомился с ним и потом стал бывать у него какой-то раскольник. Нередко завязывались беседы о Церкви Православной. Однажды в горячем споре батюшка с возраставшим воодушевлением доказывал раскольнику, что вне Православной Церкви нет спасения; раскольник слушал-слушал, да и прервал его:

— Ай-яй, батя — какая память-то у тебя!...

Батюшка недоумевает: при чем тут память, когда он говорил, что Бог на душу положит? А раскольник удивляется: как можно так много прочитать наизусть из такого-то

святого отца «О Церкви»?.. На другой день он принес и самую эту книгу, и батюшка своими глазами мог читать впервые то, что говорил накануне; весьма он удивился этому, но тайны своей раскольнику не открыл.

Такие случаи, видимо, производили на батюшку глубокое впечатление. Он старался смирить себя и полнее отсечь свою волю, чтобы жить по воле Божией, и во всем предавал себя на милосердие Христово. Так, он во время болезни совершенно не имел денег, да и вещи свои — белье, одежду и прочее раздал; оставались только иконы и самое необходимое. Кто-то однажды дал батюшке денег три рубля; эта сумма при его нищете была, можно сказать, «событием». О трех рублях знал и келейник Иосиф. Но вот среди посетителей пришли две монашки В. и В. и горько жаловались старцу на бедность своего монастыря, в котором дров не давали даже на больницу, и приходилось им ходить по городским постройкам и собирать щепы из милости рабочих. Пожалел — отдал и последние три рубля. Келейник был весьма недоволен и даже ворчал на такую «расточительность», когда и у самих-де ничего нет. Батюшка его уговаривает:

— Да ты не ворчи. Вот посмотри: Господь вдвое пошлет нам!

И точно: приходит к батюшке один из казанских купцов для беседы и, уходя, дает шесть рублей. Батюшка звонком вызывает отца Иосифа и торжествующе показывает ему деньги:

— Это что?! Ведь говорил я тебе, что Господь пошлет нам вдвое, и вот они — шесть рубликов!

Отец Иосиф был доволен; один рубль сию же минуту пошел на какую-то покупку. Но немного погодя батюшка опять с виноватым видом говорит своему келейнику, что отдал кому-то пять рублей. Видя недовольство отца Иосифа, батюшка опять уверяет его:

— Да уж ты поверь мне: Господь нас не оставит! Опять даст нам вдвое больше.

— Ну уж и вдвое! Да хотя бы старое-то вернул...

На другой день приносят батюшке почту, и среди писем — повестка: *на десять рублей.* Тут уже и отец Иосиф сдался — поверил, что Господь не оставляет Своих рабов, так что уже и сам стал побуждать батюшку отдать деньги:

— Ничего, батюшка — отдайте! Господь нам вернет вдвое.

Однако предсказания его не так верно сбывались, и батюшка опять разъяснял ему, что, может быть, он не без задней мысли раздавал деньги — хотел удвоить их, а Сердцеведец Господь и не благословил...

Таких случаев в жизни батюшки было множество, и всегда он умилялся сердцем при одном даже воспоминании о такой благости Божией. Иногда и самим собеседникам старца казалось, что Господь так близок и благ к нам, что готов даже и такие утешения посылать, которые смело можно назвать «гостинцами». О таком «гостинце» рассказывал и батюшка. Когда он был болен и не мог выходить на воздух, по две весны прилетал скворец в пустынь и, садясь на раму открытого окна в келье батюшки, пел целыми днями. Батюшка его очень любил и смотрел на него как на райского посланника. На третью весну этот певец уже не прилетел: батюшка сам получил возможность выходить на воздух и наслаждаться там весенним ароматом и пением птиц. Пред этим же был такой случай, рассказанный самим старцем.

Как-то, сидя в постели, батюшка читал житие прп. Серафима Саровского. К концу чтения книги пришла ему мысль: «Если бы

угодник Божий помог мне встать и ходить — заказал бы я написать икону с него на кипарисной доске!» — и потом, продолжая чтение, забыл об этом. Докончил книгу о прп. Серафиме, закрыл ее и безо всякой мысли, как бы в забытьи, встал на ноги и отнес книгу в моленную комнату, положил ее на место с прочими книгами и таким же образом вернулся к постели. И тут только он как бы очнулся — заметил, что он — **на ногах**; а ведь до этого пять лет не вставал! Но все же от ходьбы утомился и лежа не переставал удивляться: как это он один — без посторонней помощи — мог встать и отнести книгу? И тут же вспомнил о своем желании написать икону прп. Серафима. Однако как написать? Угодник Божий еще не был прославлен!

Своим затруднением на этот счет батюшка поделился с отцом Виссарионом, и тот дал благой совет: написать икону явления прп. Серафиму Божией Матери с мученицами-девами; вот тут-де будет изображен и сам прп. Серафим. Батюшка так и сделал; потом икона эта всегда была келейной иконой старца.

После такой милости прп. Серафима батюшка уже начал похаживать по комнате.

Однако на воздух в первый раз его все же вынесли на руках — на кресле, так как кружилась голова. Сидя на солнышке, он наслаждался природой и даже, как сам говорил, мог обонять каждый запах раздельно и различать запах от травы, от деревьев, от земли. Запах от черемухи слышен был всегда сильнее, да еще от крапивы; они выделялись из всех прочих запахов: сосны, березы, ели; тут же и осиной попахивало — горько. В первый день эти запахи батюшка различал очень ясно, на второй и третий день — похуже, а потом мог обонять только одну общую смесь всех запахов, как обычно.

Приезд и жительство в Казани

Между тем в Казани узнали, что батюшка начал уже выходить на воздух, и благотворители стали убедительно приглашать его побывать у них в городе. Он согласился и, к общей радости духовных чад, приехал. Его окружили всяческими заботами и святыми попечениями, давали и отдых, и покой, и постоянно спрашивали — не нужно ли чего? Батюшка благодарил их и высказал свою мысль:

— Для меня собственно ничего не нужно. А вот нужно будет устроить небольшой корпус для поминовения усопших, с часовенкой и кельями на шесть человек, это для вечного поминовения — с чтением Псалтири...

Узнав, что на такую постройку нужно около пяти тысяч рублей, они на другой же день поднесли батюшке эту сумму сериями. Можно себе представить, в каком духовном восторге был батюшка, предвкушая возможность исполнить свое обещание — молиться за умерших, по слову святителя Тихона в вышеописанном видении! Тут же записали сродников этих щедрых жертвователей, и батюшка радостным возвратился в пустынь.

Однако Казанский архиепископ Арсений сказал, чтобы строили церковь, а не часовню. Смету составили на нее в 13 тысяч рублей. Пожертвованных денег не хватало, и новый наместник (отец Виссарион скончался в это время), отец Аркадий, снова отправил батюшку в Казань. Батюшка объяснил своим благотворителям, в чем дело, и они опять дали ему приблизительно такую же сумму. Тем временем план храма был разработан, батюшка получил

из Консистории полномочия на ведение постройки и сразу же приступил к делу. Был заготовлен камень, вырыты канавы и 16 мая 1898 г. совершена была закладка храма. Одновременно в соборе было начато чтение Псалтири — за благотворителей и рабочих-строителей. К 16 октября черные работы были окончены, был даже поставлен и крест на главу. Всю зиму шли работы уже по внутренней отделке. Настилался пол, писались иконы, сооружался иконостас, шились ризы и облачения на аналои. От тех же благотворителей новый храм получил отличные серебряные сосуды, подсвечники, чеканное одеяние на престол и жертвенник, большую люстру (паникадило), иконы, кресты, Евангелие, кадила и вообще все необходимое для служения и обстановки храма. Между прочим, даже студенты Духовной академии, в то время уже познакомившиеся со старцем, тоже приняли участие в создании храма: ими были пожертвованы в северные и южные врата иконостаса иконы Архангелов Михаила и Гавриила (покровителей академической церкви).

16 октября 1899 года храм был освящен во имя прп. Евфимия Великого (Ангела

схимонаха Евфимия, основателя Седмиезерной пустыни) и святителя Тихона Задонского. С этого времени там и началось ежедневное служение ранних заупокойных литургий. Первое время батюшка сам и служил во все воскресные и праздничные дни. По его желанию пение там было заведено афонское (по возможности) — умилительное, грустное, настраивающее душу на покаянные чувства, как и вся вообще служба с пением заупокойных — «мертвенных» — песнопений и стихир.

Года через четыре храм этот был расписан священными изображениями и получил вполне законченный благолепный вид. Батюшка его особенно любил как дар Божий, как памятник Благости Небесной. Ибо батюшке удалось, при помощи Божией, не только собрать деньги на это доброе дело, но и выполнить его свято. Например, батюшка убедительно просил рабочих не курить, не пить и вообще, работая, как бы говеть духовно. Сам постоянно ходил на эту стройку и назидательным словом поддерживал в них сознание святости дела и доброе настроение. Мирно и тихо прошло время работ, и благословение Божие было на храме.

Однажды Господь спас его от пожара. После службы пономарь недоглядел, что на панихидном столике (канунице) осталась горящая свеча в свечной колодке; очевидно, она догорела до конца и от нее загорелась свечная колодка, воск растопился и пламя охватило столик и часть бокового (левого) иконостаса. На другой день нашли церковь полной дыма, но огня нигде не было: пламя потухло, сжегши облачение на столике и отчасти попортив нижнюю часть иконостаса.

Несколько позднее был еще такой случай: после Мясопустного воскресения в этом храме службы не было почему-то в течение всей Масленицы. И вот когда пономарь пришел готовить храм к воскресной литургии в Прощеное воскресенье, то с величайшим недоумением увидел, что пред всеми иконами горят лампадки (собственно — фарфоровые «свечи» с лампадными вставками в них пред местными иконами и киотами), между тем он сам гасил их в предыдущее воскресенье, да и ключей от храма он никому не давал. Этот случай так и остался необъясненным, но произвел на всех впечатление, тем более и пономарь настаивал, что он гасил лампады и потом в храме уже не был.

Памятуя о смерти, батюшка велел под этим храмом приготовить и место для своего погребения — склеп. Тут-то именно Господь и благословил ему теперь обрести вечный покой.

Одновременно с постройкой храма батюшка начал строить поблизости к нему и небольшой домик, предполагая устроить в нем больничку монастырскую. Материалом для постройки послужили разбитые кирпичи — лом, который оставался при теске и кладке фигурных украшений храма, или разные «половинки» кирпича с кирпичного завода. Такая постройка обошлась очень недорого, а домик вышел хороший. Батюшка и был его первым насельником. Здесь же потом имели утешение живать и те духовные дети старца — академисты (как студенты, так и окончившие курс Духовной академии — монахи, священники и светские), которые старались проводить у него все каникулы, чтоб побыть под непосредственным руководством и наблюдением его. Это обстоятельство побудило батюшку потом расширить домик пристройкой еще трех комнаток.

Пока батюшка был болен, нищ и убог на своем одре, братия хотя и жалели его

и навещали, но вообще мало интересовались им и не понимали его душевного устроения. Поэтому быстрая и столь неожиданная постройка храма, а затем и домика как-то поразила их, возбудила не то любопытство, не то зависть, вообще вызвала разговоры и суждения о батюшке как человеке. Одни хвалили, другие, наоборот, не находили «ничего особенного», отыскивали слабости и недостатки и почему-то старались даже чернить в глазах общества и начальства. Но все это только заинтересовало посторонних. Опять начались их приезды и беседы со старцем. Многие в глаза хвалили батюшку, стали почитать его святым и прочее. Батюшке тяжело было слышать все это; он употреблял все усилия казаться обычным человеком, старался доказать, что он такой же грешник, как и все, сравнивал себя с «впадшим в разбойники» — с тою лишь разницей, что «раны» его были-де своих внутренних разбойников — пяти чувств, от них-то и происходят-де все его страдания и болезни; старался никого не судить и ни о ком строго не отзываться, дабы никто его не боялся и не стеснялся. Но — напрасно: внимание общества казанского росло, возбуждая, наряду с почитанием,

и пристрастность, а у некоторых даже и прямое недоброжелательство. Каждый судил своим судом и по своему мнению. Но батюшка, видя помощь Божию себе, был собственно покоен духом. Он мог с пророком Исаией сказать: «*Господь Бог помогает мне; поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лице мое, как кремень* (славянск. — «как твердый камень»), *и знаю, что не останусь в стыде. Близок Оправдывающий Меня... Вот Господь Бог помогает мне, — кто осудит Меня?*» (Ис. 50, 7–9). Поэтому без лишних волнений старец покойно отдавался внутренней молитве и духовной работе над собой и приходящими к нему из братии и народа. Было только одно желание: укрыться от людской молвы, но это сделать было невозможно.

В это время наиболее частыми посетителями старца были студенты Казанской Духовной академии, преимущественно монахи. Им давно недоставало такого руководителя в духовной жизни — любвеобильного, простого и опытного, и теперь они с жадностью устремились в Седмиезерную пустынь. Впрочем, как вспоминал и сам батюшка, иногда приезжали к нему и из простого любопытства, а уезжали верующими;

«ибо бывали и такие, что и в Бога не верили...» Но по обращении своем они начинали предаваться уже отчаянию за свое прошлое и за будущее спасение; представляя всю тяжесть своих грехов, уже теряли надежду на прощение и спасение. Батюшка всячески утешал и ободрял их, и слова его о безмерной любви и благости Божией, как слова достоверного свидетеля, самолично испытавшего на себе глубину милосердия Христова, как-то неожиданно находили доступ в самые мрачные углы сердца, туда проникал светлый луч надежды на спасение, душа начинала трепетать от прикосновения благодати Христовой, и грешник, забывая себя, видел только всепрощающий Лик Христов, к Нему стремился и Им единым начинал жить и дышать.

«Иисусе, любы неизреченная! Иисусе, надежда моя, не остави мене! Иисусе, Помощниче мой, не отрине мене! Иисусе, Создателю мой, не забуди мене! Иисусе, Пастырю мой, не погуби мене! Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя». (2-й икос акафиста Спасителю).

Старец и ученики его сладко плакали, взаимно утешались спасением Господним

и крепче прирастали друг к другу святою любовью о Христе.

Рассказывал батюшка, не называя имени, и о таком исповеднике, который вывел его из обычного тона и поведения духовника. Приехал раз один священник. На исповеди, на вопрос старца: «Готовясь ко Святому Причащению, всегда ли вычитываете положенное правило?» — он сделал вид, будто не понимает вопроса:

— То есть как — правило?.. Я читаю, но — газеты...

— Газеты?! — изумился старец. — Да в Бога-то вы веруете?

— Нну... — не скажу, чтобы очень... — процедил исповедник, улыбнувшись в сторону.

Эта странная манера «каяться» и заметная ожесточенность сердца возмутили батюшку. Волнуясь, он несвойственным ему строгим голосом стал допрашивать священника:

— И что же: все-таки служите?

— Да, конечно — ведь я же священник...

— И народу проповедуете, чтоб молились и в Бога верили?

— Да, проповедую — по обязанности.

— Так ведь ваша обязанность — и молиться, паче всего!

— Видите ли, я на это смотрю так: чиновник обязан служить, и — служит, а что у него в душе — до этого никому дела нет. Я обязан проповедовать — я и проповедую, а что у меня внутри — кому же до этого какое дело?..

— Как? — воскликнул батюшка, вставая во весь рост, — у тебя, значит, на языке-то мед, а на сердце — лед?! Да ведь ты — **преступник**! — и, не помня себя, в неописуемом волнении, даже по аналою рукой ударил.

Затрепетал и священник от этого грозного окрика, повалился на колени и в каком-то ужасе, закрывая лицо руками, простонал:

— Господи! Где же я был?.. — и зарыдал, и зарыдал...

Едва успокоил его батюшка; заново переисповедал и еще долго утешал сладкими словами о спасении и радости боголюбия. Потом этот священник исправился и был искренним почитателем старца.

Однажды батюшка и сам подпал было такому унынию, что ему страшно было за себя. Некто из великих приехал к нему на исповедь и покаялся в тяжком падении. Батюшка был в затруднении: и разрешить грех — трудно, и не разрешить не мог. И — разрешил! Но потом не находил себе покоя. Считал

себя хуже Иуды, хотя и чувствовал, что не имел права так думать о себе. Однако ходил как присужденный к наказанию. Между тем нужно было служить литургию в новом Евфимиевском храме. А на батюшку страх нападает: боялся и приступить к алтарю, ибо чувствовал себя виновным пред Богом.

С плачем вычитал он все правила к служению, но тем не менее чувствовал себя убитым горем — своим разрешением чужого греха; а покаяться своему духовнику не решался, из опасения — не навести бы и его на смущение. Так и остался со своим горем, как с тяжелым камнем на сердце. И в таком состоянии все-таки решился служить.

Читая входные молитвы, облачаясь с положенными молитвословиями, испытывал от каждого слова молитвенного страх. Пришло время воздевать руки и читать: *«Слава в вышних Богу»,* — едва может выговаривать. *«Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою»,* — страх, а потом и трепет объял его... Дальше — больше... До призывания Святого Духа заливался он горькими слезами, плакал неутешно... И вот настала страшная минута — возглашать: *«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом*

Твоим ниспославый, Того, Благий, не отими от нас, но обнови нас молящих-Ти-ся!..»

— В это самое время, — рассказывал батюшка, — горнее место в алтаре как бы отступило, и вот я вижу Спасителя, окруженным множеством святых: неисчислимым числом Ангелов, Архангелов, Херувимов, Серафимов... Ангелы парят вокруг Него сверху и снизу и по обеим сторонам. Много святых пророков, апостолов, преподобномучеников, святителей и прочих святых бесчисленное множество; все «небо небесе» заполнено святыми и весь воздух. И все они стояли с главами, преклоненными и обращенными к Спасителю; руки свои все держали скрещенными на персях, и все — в таком благоговении, страхе и великом молчании, и как бы насыщались от эфирнорозового света, исходящего от Спасителя и Его язв, этот же свет от язв Христовых лучом падал и на Святые Тайны. И Спаситель Сам как бы Себя приносил в Жертву Богу и Отцу Своему — наклоненно туда — к исходящему сверху свету, мягко-яркому, неописуемой красоты и величия. Меня сильно поразило и удивило все это, и я невольно как бы воскликнул внутренне: «Так вот оно как: "*Да молчит всякая плоть человеча,*

и да стоит со страхом и трепетом (о величие Божие!), *и ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным. Предходят же сему лицы Ангельстии со всяким Началом и Властию, многочитии Херувими и шестокрылатии Серафими, лица закрывающе и вопиюще песнь: Аллилуия, аллилуия, аллилуия...*" И в это время мне пояснили как бы: «За эту исповедь ты причислен здесь...» Когда я пришел в себя, оказалось, что я стоял около аналоя, облокотившись на него локтем левой руки, а ладонью поддерживал свою голову и произносил слова Таинства литургии: «*И сотвори убо хлеб сей честное Тело Христа Твоего! А еже в чаше сей — честную Кровь Христа Твоего, преложив Духом Твоим Святым!*» — и тут я навзрыд заплакал — от страха и трепета... И поистине: тогда никакая мысль ни о чем земном и не вмещалась бы. Удивлялся я в себе всему бывшему и все повторял: «Вот оно что: "Да молчит всякая плоть человеча!"» И спала с меня та тяжесть, которая тяготила мою душу после оной исповеди. Вскоре тот человек начал болеть, и еще не раз приносил покаяние, болел он долго и все время каялся.

Наконец, после соборования и приобщения Святых Христовых Тайн, в мирной кончине предал дух свой Богу. А мне стало еще легче и даже радостно за него.

Впоследствии батюшка, совершая литургию, в редких только случаях не проливал слез во время призывания Святого Духа — такое сильное осталось у него впечатление от воспринятой им в этом видении тайны Христовой Жертвы за грехи людей. Беспредельность любви и благости Божией была у него как бы пред глазами, и он буквально рыдал, произнося слова молитвы: *«Того, Благий, не отыми от нас...»* Очень хотелось ему иметь изображение этого видения в красках, и он не раз объяснял художникам и художницам (своим духовным детям), как и что надо рисовать; но их рисунки мало удовлетворяли его: всегда что-нибудь было поставлено не так, или неверно передавало настроение видения.

Назначение настоятелем Седмиезерной пустыни

В воздаяние благотворного служения и полезной для обители деятельности батюшка был награжден в 1900 году

золотым наперсным крестом от Священного Синода; а Казанский архиепископ Арсений († 1914) вообще был внимателен к незаурядной личности седмиезерского схимника и очень желал поставить его своим наместником в этой пустыни. После смерти отца Виссариона он и предлагал было батюшке наместничество, но батюшка умолил его не делать этого — ради своей схимы и болезненности. Ибо надо сказать, что и по «выздоровлении» он испытывал приступы сердечных припадков — настолько часто и неожиданно, что принужден был всегда иметь у себя в кармане сильное лекарство, две-три капли которого могли поддержать падающую деятельность сердца. Владыка Арсений долго колебался, но уступил просьбам батюшки и оставил его пока в покое. Однако за короткое время он вынужден был сменить одного за другим трех наместников — ни один не был ему угоден по причине или недостатков, или бестактных поступков. Тогда он призвал к себе в Казань батюшку старца и встретил его такими словами:

— Ну теперь за тобой очередь: быть тебе наместником!

Испугался и взволновался батюшка. На коленах стал отказываться от этой чести, указывал на свою схиму, на болезнь, вообще старался убедить владыку избавить от этого ига. Архиепископ тоже начал волноваться и в довольно сильных выражениях стал упрекать батюшку, что «ты-де себя только спасаешь, а других не желаешь спасать», да как крикнет:

— Я тебе приказываю! — и при этом даже рукой ударил по столу.

Страшно стало батюшке, да и владыку жалко; нечего делать — согласился.

— Благословите и простите! Но прошу вас помогать мне управлять братией.

— Бог тебя благословит! — ответил владыка и, уже совершенно успокоившись, прибавил:

— Давай помолимся! — и оба стали молиться Богу о помощи и благословении на новое дело настоятельства. Затем владыка тут же по телефону велел Консистории приготовить указ о назначении иеросхимонаха Гавриила наместником с возведением в сан архимандрита, о сдаче и приемке монастырского имущества и т. п. Присутствовать при сдаче был назначен благочинный монастырей — архимандрит Н.; он почему-то

недружелюбно отнесся к назначению батюшки, не объявил седмиозерской братии даже указа о новом наместнике, и вообще старался внушить братии, что отец Гавриил сам втерся в начальническую должность. И нужно сказать, что семена таких внушений пали, к сожалению, не на бесплодную почву... Это было осенью 1901 года; в феврале 1902 года последовало утверждение Синода, и 9 июня батюшка был возведен в сан схиархимандрита.

Со страхом и благоговением принял батюшка настоятельство в пустыни. Сознавая всю ответственность за спасение братии и за благоустройство обители, он всегда старался иметь пред глазами святые примеры оптинских настоятелей отца Моисея и отца Исаакия, и подражал им в мудром сочетании духовного преуспеяния братии с внешним порядком и благополучием.

Благодаря опытному прохождению почти всех основных монастырских послушаний батюшка и хозяйство хорошо понимал, мог и духовной жизнью братии мудро руководить, а в общем имел дар от Бога — найти гармоничное сочетание внутреннего с внешним.

Прежде всего он постарался принять меры к упорядочению поведения братии. При трех быстро сменявшихся после отца Виссариона наместниках в жизнь обители вкрались грубые нарушения монашеского устава, так что немало было и нареканий со стороны. Батюшка первым делом приказал в свое время запирать и открывать монастырские врата, ключи от них обязательно требовал себе, и вратарем назначил брата, преданного обители и спасению. Все послушники были им одеты в подрясники, подпоясаны ремнями, «причесаны», снабжены четками и вообще по-монашески облагоображены.

Стал батюшка требовать от них и исправного хождения к утреням, и так как сам неопустительно продолжал бывать за утренями, то мог воздействовать и на ленивых, иногда посылая за ними даже благочинного. Старался облагообразить и пение, принимая в братство хороших певчих и поддерживая авторитет регента; поощрял за хорошее пение, но не давал певчим и разбаловаться. Церковь наполнилась братией; богослужение стало благолепным. Стал воскресать дух монашества, и обновилась несколько жизнь духовная.

Как настоятель батюшка начал говорить и поучения по праздникам в трапезе. В этих поучениях он всегда старался раскрыть в простых словах всю сладость жизни благодатной и всю силу ответственности тех, кои, живя в монастыре, проводят жизнь не монашескую. Иногда по поводу какого-либо проступка в братии он поучение свое заканчивал довольно внушительными словами:

— Смотрите — чтоб у меня от вас за версту монахом пахло...

В то же время батюшка старался найти в братии достойных людей на место «старших» по послушаниям, затем всегда бдительно следил за ними, поддерживая советом и властью настоятельской. Естественно, что прежние «старшие», удаленные с послушаний, были недовольны, с ропотом подчинялись всем благим начинаниям нового наместника и в скором времени подняли даже открытый мятеж против строгих порядков в обители. В один из печальных дней батюшка оказался в своем домике как бы в осаде: его караулили, чтобы убить... Кто-то из послушников дерзнул даже бросить камнем в старца через окно, но камень только разбил стекло и пролетел мимо, не задев старца.

Батюшка не винил братию: он понимал, что до такого ожесточения мятеж доходит только по действию врага, и поэтому начал усиленно молиться Матери Божией, чтобы Она Сама вступилась в дела обители Своей. В скором времени бунтари в чем-то не поладили между собою и начали сами уходить из Седмиезерной пустыни — кто куда, некоторых же недовольных архиепископ Арсений сам перевел, и таким образом поле деятельности на некоторое время было расчищено для батюшки.

Главным источником для существования Седмиезерной пустыни служили и служат крестные ходы с чудотворным образом Божией Матери. Батюшка сам бывал в этих ходах и на своих плечах испытал всю тяжесть их, физическую и нравственную. Как духовник знал и о том вреде, какой причиняют эти ходы молодым послушникам, вынужденным целые месяцы проводить в теснейшем соприкосновении с миром, и притом с деньгами в руках. Искушений и соблазнов много, и не каждый мог стать выше их. Зная все это, батюшка пришел к мысли: завести постепенно новые источники содержания обители, и именно такие, от которых была бы и духовная польза для самой

братии. Поэтому он обратил внимание на сельское хозяйство в широком смысле слова. Перестал отдавать землю за дешевую арендную плату, а начал обрабатывать ее своими средствами. На так называемой «череде» (в 7–8 верстах от пустыни) построил хутор, приобрел все усовершенствованные машины: плуги, бороны, сеялки, косилки, жатвенные машины и прочее. Начал сеять разные травы для скота; завел добрых лошадей, обновил всю сбрую и выезды; построил обширный скотный двор, с улучшенной породой молочного скота, и на этом дворе — особый телятник (куда была проведена даже теплая вода). На скотном же дворе была устроена маслобойка с сепаратором, вырабатывалось прекрасное масло и с большим успехом сбывалось в городе. Для утилизации разных кухонных отбросов батюшка завел породистых свиней, построил свинарник и довел это дело до большой доходности. Для надобностей кухни был устроен хороший огород — на месте, прежде представлявшем только гниющее болото и овощной подвал.

От улучшения хозяйства получилось обилие удобрений, а в связи с этим явилась возможность получить и богатый урожай,

сбором которого могла пропитаться вся братия в течение целого года. Для зерна была устроена зерносушилка — по собственному плану батюшки, притом настолько удачно, что заимствовать устройство ее приезжали даже земские деятели. Мельница водяная, приносившая прежде всего 200 рублей аренды, в опытных руках батюшки стала приносить монастырю более 800 рублей, так как он сам взялся за это дело.

Постепенно были устроены три больших пчельника, выписаны итальянские, американские и кавказские пчелы и сделаны посевы медоносных трав, так что мед был не только в изобилии, но и разных вкусов — в зависимости от «взятки». Такой мед нарасхват брали не только в Казани, но требовали и на Нижегородскую ярмарку, куда не раз отправляли по нескольку больших бочек меду. На тех же пчельниках вырабатывалась «вощина», для чего имелись собственные машины (вальцы) и приспособления, делались и ульи; избыток всего этого продавался, а деньги шли на улучшение того же пчеловодства. Заведование пчельниками батюшка поручил своему бывшему келейнику отцу Тихону, который прекрасно изучил и умело вел это дело. Он же из остатков

меда пробовал варить медовые напитки (наподобие шампанских шипучек); казанские виноторговцы приходили от них в восторг и готовы были платить по 5 рублей за бутылку, лишь бы им доставляли эти меды. Но батюшке показалось неудобным для обители иметь доход от такого дела, и он вскоре же прекратил его.

Для сокращения расходов по ремонтам и постройкам батюшка завел свои обжигательные печи для извести и алебастра и обновил кирпичный завод; делал большие заготовки строевого леса. Если к этому прибавить еще кузницу, бондарню для дубовых бочек и кадок, столярную, сапожную, портняжную, то можно видеть, что монастырское хозяйство было поставлено на прочном основании, и нужно было только выждать время, чтобы каждая отрасль окупила себя и начала приносить прибыли, которыми можно было бы монастырю содержаться без лишних ходов с иконой.

На все перечисленные послушания батюшка стремился ставить работниками свою братию, сокращая количество наемных рабочих, и имел в виду вообще постепенно привить братии сознание необходимости и пользы самим делать все для своей обители.

Он и сам трудился, не щадя своих сил и времени, и действительно имел основание не хвалясь сказать о годах своего наместничества, что «жизнь его в это время текла трудами и пóтом, среди всяких испытаний и нападок со стороны завистников и искателей власти и чести монастырской». От постоянных забот об обители он не знал покоя, и даже иногда, стоя в храме за богослужением, он вдруг вспоминал о каком-нибудь неотложном деле, и потом говаривал:

— Узнал заботы — узнал и нечистую молитву (то есть соединенную с отвлечением ума на посторонние предметы). Но он не впадал в уныние от сего, хотя и слишком велика была разница по сравнению с его молитвенным самоуглублением во время предшествовавшей болезни. Может быть, ему утешением служили слова прп. Иоанна Лествичника: «*Не скорби, будучи расхищаем мыслями, но благодушествуй и непрестанно воззывай ум ко вниманию, ибо никогда не быть расхищаему мыслями свойственно одному Ангелу*» (Слово 4, 92).

К заботам и трудам по хозяйству батюшка присоединил еще труды по духовному воспитанию братии и обращавшихся к нему за наставлением мирян. Братии он

никогда не отказывал в беседах и исповеди, ибо многие по-прежнему желали иметь его своим духовником. А духовным детям своим немонастырским он часто писал глубоко назидательные письма. В этих письмах он, в форме беседы, изливал свои молитвенные чувства, мысли о Боге, спасении, покаянии и прочее. Идя к утрене в темную ночь (часа в четыре) можно было видеть в окно, как у свечи убеленный сединами старец склонился над бумагой и, не отрываясь, пишет и пишет... Случалось — выходили от утрени, а батюшка все еще сидел в том же положении за письмом. Иногда он сам при этом плакал слезами умиления и, отрываясь от бумаги, отирал лицо платком, рукавом или даже полой своего подрясника. Эти письма всегда производили неотразимое впечатление духовной силы, глубины мысли и чувства и какой-то особой духовной свежести, так что многие не могли и читать их без слез.

Только по этим письмам и можно было отчасти судить о внутреннем горении сердца батюшки в молитве и подвиге любви к Богу, да разве еще по отдельным словам отдельным лицам и по его молитвенному плачу во время литургии. Во всем же внешнем

поведении батюшка старался иметь обычный вид, то есть пил, ел, шутил и работал, как все люди, и под этой будничной внешностью совершенно скрыл свои настоящие подвиги и благодатные дары, о которых он сам однажды проговорился впоследствии: «Прежде не было того дара, которого бы я не имел». Но батюшка поступал так совершенно сознательно — не только по смирению, но и по духу слов прп. Нифонта Цареградского: «*В последнее время те, которые поистине будут работать Богу, благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди них знамений и чудес, как в настоящее время, но пойдут путем делания, растворенного смирением, и в Царствии Небесном окажутся большими отцев, прославившихся знамениями*». Уже в конце своей жизни батюшка сам однажды высказался пред своими ближайшими учениками:

— Уж я-то вас хорошо знаю... А вот вы меня меньше знаете; пожалуй, я даже вовсе неизвестен вам...

И это, конечно, верно — именно в отношении внутренних переживаний и молитвенных озарений старца. Не было человека возле него, кому он мог бы открыть себя

всецело и кто мог бы верно понять его благодатные состояния.

Посему неудивительно, что старцева внешность многих обманывала. Видя его тучность и веселость, кто мог предположить в нем высоту духовной жизни? Требуют обычно каких-нибудь видимых подвигов: неядения, молчания, затвора, вериг... А тут — наоборот: все обычно, все просто. И легко было подумать: «Какой это святой? Так-то и каждый может спасаться...» Но эта немудреная святость была совершенно чужда осуждения, преисполнена молитвы, любви, целомудрия, рассуждения и той чарующей кротости, которая осязательно нами ощущается, если взять в руки ласточку или голубка.

При таких чувствах батюшка, естественно, не мог принимать мер строгости против недовольных, которые чувствовали, что этот наместник ведет дело к сокращению ходов и увеличению личного труда каждого брата. На их тайные доносы Казанским архиепископам (а их при батюшке было четыре) он не мог отвечать политикой незаметного выкуривания неугодных лиц, а предался подвигу терпения всех их интриг, охраняя только настроение остальной

братии. Он предоставил Богу вразумить недовольных, ибо его слова уже не действовали на них, а сам мирно обращался с каждым из своих врагов, помогал и благотворил им, и ничем не умалял и не отличал их от прочих. Все были равны для его сердца.

Видя это, бесы захотели сломить терпение старца новым неожиданным способом. Среди наружного мира и процветания пустыни они в ночь на 7 января 1903 года явились в спаленку к старцу и начали открывать ему про каждого брата, кто из них какой, кто как думает о батюшке, как замышляют свергнуть его и как в то же время надевают личину преданности ему; открыли даже все недостатки и грехи преданных батюшке лиц; словом, нарисовали пред ним такую безотрадную, подавляющую картину общего озлобления против него и общего растления греховного, что казалось, нужно было все бросить и бежать — бежать от людей, от мира, спасая только свою душу от потопа человеческих страстей... Тут могла поколебаться вера в силу Божию и в благодать спасения.

Батюшка был взволнован чрезвычайно. Целое утро он ходил по дому с кипарисовой иерусалимской палкой и, грозно стуча ею по полу, возмущенно кого-то бранил:

— Ишь — хулиганы! Тоже лезут... Да! Обманывать вздумали?.. Хулиганы!

Лицо у него было красное, взволнованное; тяжело дыша и все еще гневаясь, он нет-нет да и скажет опять вслух:

— Вот еще хулиганы-то! Не на таковского напали — вот что!

Было около восьми часов утра.[1] Мы пришли от ранней обедни. Подали чай. Но батюшка словно бы и не замечал его. Не выпуская из рук кипарисовой палки, все продолжал грозить кому-то в пространство, приговаривая:

— Дался я им... Вот хулиганы-то еще!

Думая, что батюшку расстроил кто-нибудь из келейников или из братии, мы все притихли и тоже не смели приступить к чаю. Но батюшка ласково пригласил нас:

— Вы что же не кушаете-то? Пожалуйте, кушайте!

Мы тут осмелели и спросили батюшку о причине его волнения: что случилось? И он рассказал нам, что ночью во время сна он почувствовал, как воздух сделался каким-то гадко смрадным, серным, и он, открыв глаза, увидел, что спаленка его наполняется отвратительного вида оборванцами-хулиганами,

---

[1] Личное свидетельство о. Симеона.

с оскаленными зубами, со сверкающими злобными глазами. В страхе он сел на постели. Бесы обступили его, при этом одни старались запакостить и осквернить стены, накануне лишь окропленные святой богоявленской водой, другие же начали открывать ему душевные тайны братии и духовных чад его. Батюшка еле перевел дух и крикнул им:

— Вон отсюда! — бесы поколебались.

Тогда он встал с постели и пошел через зальцу в прихожую за иерусалимской палкой, а бесы стали на пути хватать его за подол рубашки и что-то кричали. Но батюшка уже взял палку и снова крикнул им:

— Вон отсюда, хулиганы!

А бесы сделали вид, что сильно испугались, и опрометью бросились в стеклянную дверь — только шум пошел.

Батюшка понимал, что этим показным «страхом» бесы хотят просто надмить его: «святой-де», а своими откровениями хотят внушить полную безнадежность спасти других и почувствовать себя совершенно одиноким во всем мире. Эта хитрость, наглость и диавольски тонкая и правдоподобная клевета на всю братию не могла не волновать

его; он приходил в возмущение, припоминая подавляющую новизну опасных впечатлений этой ночи, и потому еще долго сидел с палкой в руках; наконец, поставил ее в изголовье своей кровати и еще раз выбранил бесов:

— Вот истинно хулиганы-то! Да ведь еще и за подол хватают!

По прошествии некоторого времени, как бы в оправдание бесовских откровений, действительно для батюшки начали выясняться тайные интриги некоторых из братий против него. Начались доносы архиепископам. Последние поручали проверить жалобы благочинному монастырей. А между тем сам благочинный был в числе нерасположенных к старцу, потому невольно был пристрастен и своими докладами разрушал доверие владык к батюшке. Нужно сказать, впрочем, что все же при разборе жалоб батюшка каждый раз оставался совершенно чистым и обеленным от обвинений. Но он не пользовался своим правом наместника просить об удалении клеветников. Он ни за что не хотел ни умалить своего подвига, ни руководствоваться бесовскими откровениями о братии, а всецело предался на волю Божию и милосердие

Царицы Небесной, и вооружился на предлежащее терпение. Ибо истинная «*любовь долготерпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает, все переносит*» (1 Кор. 13, 4–7).

Между тем недовольные, не видя исполнения своих происков и не получая и возмездия за доносы, выжидали удобного случая, чтобы окончательно столкнуть своего наместника. Такой случай представился при назначении в Казань архиепископа Н. Ему еще до приезда в Казань были посланы доносы на батюшку, почему по прибытии на место он почти тотчас приказал произвести ревизию Седмиезерной пустыни. Первая ревизия нашла все в полном порядке, указала только на несколько мелких неправильностей в ведении приходо-расходных книг. Это не удовлетворило владыку, и он назначил вторую комиссию, которая устранила старца от должности, перевела его в иеромонашескую келью, отобрала все книги, документы, деньги. Батюшка чуть было не умер от потрясения: слабое сердце его было бы не в силах переносить такие события, если бы не укрепляла его благодать и любовь Божия. Но именно в эти-то минуты и дни он пожинал плоды своих

прежних молитв и подвигов: душа его была преисполнена внутренним миром от Бога, «*миром, который превыше всякого ума, и соблюдает сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе*» (Флп. 4, 7).

Батюшка на время оказался всеми оставленным, одиноким, безо всяких средств. Но упование на Бога подкрепляло его и поселяло в сердце даже такую радость и тишину, о которых он и потом вспоминал с большим умилением и благодарностью Богу.

Он подал в отставку и, получив увольнение, немедленно уехал сначала к одному ближайшему соседу-землевладельцу, который готов был даже домик построить для него, лишь бы он оставался жить, а потом переехал в Казань к одной бедной почитательнице, чтобы иметь пристанище до выяснения вопроса — где ему жить в будущем.

Духовные чада старца — академисты, узнав о постигшем его бедствии, наперерыв стали звать его к себе. Но батюшка и в этом положении не хотел поступить по своей воле, а просил своих духовных детей указать ему место жительства. В это время как раз один его ученик и постриженник (академист) — игумен Иувеналий — устраивал Елеазарову пустынь (недалеко от Пскова)

на общежительных началах, пригласил к себе братию из Глинской пустыни и очень нуждался в мудром советнике-старце. Сочувствуя ему в этой духовной нужде, остальная братия телеграммой просила старца поехать к отцу Иувеналию в Псков. И батюшка тотчас же подчинился сему приглашению.

Надо было уже садиться ему на пароход до Рыбинска, а денег на дорогу не хватало, тем более что батюшка должен был везти за свой счет не только трех келейников, но еще и двух студентов-академистов, которые ни за что не хотели отстать от него. Вот уже приехали и на пристань, а денег нет. У батюшки сердце сжимается, но вместе есть и какое-то упование на Бога. В это время один из числа провожающих, архимандрит Варсонофий, догадался спросить старца, есть ли у него деньги, и получив отрицательный ответ, немедля отправился в город и от каких-то добрых людей достал 200 рублей. Едва он успел вручить старцу деньги, как пароход уже тронулся. Батюшка до слез был тронут этой милостью Бога, и с миром, с молитвой и прощением всем отправился в неведомый ему край — в Псков, в Елеазарову пустынь.

Спасо-Елеазарова пустынь

В дороге до Пскова батюшка был в весьма мирном настроении: бури только что минувшей ревизии и отставки, а затем и неожиданного отъезда из насиженного гнезда не вызвали в нем ропота, недовольства или упадка духа. Наоборот: он и на пароходе был для спутников своих источником успокоения и крепкой надежды на Бога в будущем. Для него все неожиданности внешние имели особый смысл внутренний. В себе самом, в своих сладостных мирных чувствах он видел, что Господь — с ним и за него, и потому с тем большей покорностью и смирением он готов был терпеть всякие напасти от врага и людей. «*На Господа уповая, не изнемогу*» (Пс. 25, 1); «*Всяк, кто стяжет надежду на Господа, вышший есть всех скорбящих*», — таковые «*врагом страшны и всем дивни, горé бо зрят*». В таких именно чувствах надежды на Бога батюшка в конце июля 1908 года прибыл в Псков. Побыв здесь несколько дней и получив благословение монахолюбивого владыки архиепископа, батюшка в одном экипаже с елеазаровским игуменом отцом Иувеналием поехал в его пустынь. А там у Святых врат

обители уже ждала его вся братия с чудотворным образом Всемилостивого Спаса на руках. Услышав пение тропаря «*С вышних призирая, убогия приемля...*» батюшка не мог удержаться от слез: ему живо представилось все его собственное убожество и вместе великая сила благости и любви Божией, которая, «с вышних призирая», готова на всяком месте и во всякое время утешать его и подкреплять. И эта вот честь от незнакомой еще братии — после бесчестия в Казани — привела его в молитвенный трепет пред Богом; он только и мог сказать: «Примите меня как путника дальнего, убогого...» — и смолк от наплыва внутренних чувств.

Приложившись в соборе к святыням и гробу прп. Евфросина, старец поздоровался со всею братией, и затем отправился в покои отца настоятеля, где и поселился с одним своим келейником.

Первое время после устройства в новом помещении батюшка пытался ходить к службам в храм. Но древний каменный монастырский храм не раз вызывал у него сильную простуду, так что он болел и не мог уже некоторое время даже вообще выходить из дома. С наступлением же осени

и сырой погоды ему пришлось окончательно отказаться от присутствия при церковном богослужении. Взамен этого он стал усиленно заниматься молитвой Иисусовой. И прежде он всегда, можно сказать, «дышал» ею, других обучал и даже написал и напечатал целое поучение о ней. Но здесь он стал заниматься с особенным трудом и усилием, поставив себе задачей — по четкам проходить ежедневно по двенадцати тысяч молитв: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

Помимо сего, он неопустительно вычитывал положенные по Уставу Святой Церкви службы: полунощницу с кафизмой, утреню, часы — 1-й, 3-й, 6-й, 9-й, вечерню с повечерием и келейное общее правило, то есть три канона (Спасителю, Божией Матери и Ангелу Хранителю) с акафистами. При этом он никогда никому не отказывал в беседе или даже в простом разговоре, принимал приходивших к нему богомольцев, писал письма, читал Псалтирь, Священное Писание и творения святых отцов. Вообще трудился изо всех сил, и один Бог ведает, как он мог выносить такую работу для головы и когда он давал себе отдых... Правда, от напряжения в Иисусовой молитве у него

начались сильные головные боли, но он не сдавался — прилежно справлял свои двенадцать тысяч молитв.

Враг рода человеческого, видимо, был очень раздражен на старца-молитвенника. Однажды — как передавал сам батюшка — во время занятия Иисусовой молитвой, сидя в своей комнатке в кресле, он вдруг увидал, что в двери к нему вошел какой-то черный-пречерный косматый человек — «как цыган», по определению старца; вошел и злобно заявил:

— Я тебя и отсюда выгоню!

Батюшка только посмотрел и со смирением ответил:

— Ну что же — буди воля Божия! — и продолжал свою молитву.

А явившийся так же бесшумно исчез, как и явился. Впоследствии батюшка почти никогда об этом и не говорил, но что он не забывал об этой угрозе, увидим ниже.

В наступившую зиму между почитателями старца и особенно между духовными его детьми-академистами началась деятельная переписка по вопросу: нельзя ли для старца построить в Елеазаровой пустыни особый небольшой домик? Хотя денег у всех не было вполне достаточно, но с надеж-

дой на Бога и помощь добрых людей все же приступили к постройке деревянного домика. В скором времени, действительно, одна местная благотворительница дала старцу довольно значительную сумму денег, и тогда постройка пошла уже совершенно уверенно — по плану, составленному сообща батюшкой и отцом игуменом Иувеналием. Домик вышел вполне хороший — уютный, удобный, светлый и вполне достаточный для помещения в нем самого старца и его келейников.

Поселившись в нем, батюшка к прежнему молитвенному деланию теперь настоящим образом присоединил еще духовное руководство народа, обращавшегося к нему все в большем количестве, так как молва народная стала быстро распространять весть о приезде нового старца-схимника. Нет никакой возможности передать всего содержания тех бесед, советов и наставлений, которые были преподаны старцем с этого времени; но все они были запечатлены глубиной его благодатной мудрости, крепкой веры и молитвенности, даже прозорливости. Более всего он умолял всех жить в мире, все прощать и никого не осуждать, хранить чистоту и целомудрие и все делать по заповедям

евангельским. И нужно было удивляться, как иногда в совершенно простых словах, по виду обычных и не обращающих на себя внимания, он высказывал какую-нибудь истину, и слова эти на вопрошающего производили могущественное действие: то приводили в слезы умиления, то в страх, то в разумение пути спасения, то в полное благонадежие при совершенной безнадежности и кажущейся безвыходности жизненного положения. Бывало, скажет старец: «Надейся на Бога — Господь не оставит!» — и этого было уже довольно: ему верили, воскресали духом и утешенные возвращались домой. И обстоятельства жизни, действительно, поправлялись. Так, один рыболов хотел совершенно прекратить свое занятие, ибо по два года у него не было удачи в ловле рыбы, он вошел в большие долги и был близок к полному разорению. В таком горьком положении он пришел в Елеазарову пустынь и просил батюшкиных молитв. Старец решительно не велел ему покидать своего занятия, прибавив: «Не падай духом — Господь не оставит!» В скором времени этот рыбак принес к батюшке целую корзину свежей рыбы и на коленях благодарил старца за благословение на лов:

оказалось, что у других попадала кое-какая «незавидная» рыба, а ему — все судаки, рыба ценная, имеющая большой спрос на рынке; дела его поправились, долги он заплатил и чувствовал себя счастливейшим человеком.

Таких случаев немало, и благодарные ему рыбаки и люди других занятий всегда потом приносили ему как бы некую дань от своих трудов — гостинцы: рыбу, овощи, яблоки и прочее, кто над чем трудился, так что старец, хорошо угощая своих гостей, иногда шутливо отвечал на их удивление: «Да ведь у меня свои рыбные ловли!» Или: «Кушайте, кушайте во славу Божию — не стесняйтесь: у меня свои ведь пекарни, свои сады, огороды!»

Иногда получившие совет старца затем не исполняли его, и за это горько платились несчастиями в жизни. Так, одна девушка пришла спросить — поступить ли ей в монастырь или выйти замуж. Батюшка решительно велел ей идти в монастырь. Но она по возвращении домой почему-то медлила — не ушла в монастырь, а затем даже вышла замуж, и горько потом плакала, приходя к старцу и изливая пред ним свои жалобы на несчастную жизнь. Другую девушку он

ни за что не хотел пустить в Ильинскую общину, как она ни просила его благословения на это. Девушка не послушала — все-таки поступила в общину, но там обожглась, поболела и умерла от ожогов.

Иногда мы решались спросить батюшку: чем он руководится в своих советах и ответах иногда на самые трудные вопросы?

— А чувством! — пояснял он. — Внутреннее чувство как-то само подсказывает мне.

Например, один студент Духовной академии со слезами умолял старца о пострижении его в монашество, но не мог склонить его, ибо старец всегда советовал ему, наоборот, жениться и быть священником, что тот наконец и исполнил, и Бог благословил его семейным счастьем, любовью прихожан и особою ревностью к Церкви, так что пастырь он — весьма уважаемый. А иному, наоборот, всемерно желал пострижения, и когда видел неуспех своего совета — очень тужил и беспокоился за такого, ибо жизнь его потом была какая-то неуютная, незадачливая, с болезнями и неприятностями.

«По чувству» же старец иногда о ком-либо или о чем-либо заговорит вдруг в совершенно неожиданное время или в неожиданной форме, странно. Например, один духовный

сын старца, очень его любивший, долго не писал по своем отъезде. Можно было думать, что он молчит по болезни. Кто-то вызвался спросить его письмом. Но помолчав, старец заметил: «А мне что-то подсказывает, что дело не в этом, а в чем-то другом...» — «Да в чем же?» — спрашивают. «Судя по некоторым данным, он там уж не пал ли?.. Так мне чувствуется, что он просто искушается от блудной похоти и стесняется писать...» Нам казалось, наоборот: в таких-то искушениях именно и следовало писать старцу. Но мы молчали. Это было утром. А вечером получено было письмо того человека, в котором он пишет, что «земным поклоном просит у старца прощения за молчание, что молчал — по стыду, ибо был исполнен нечистыми помыслами и чувствами, и теперь, в ужасе пред собою, просит старца помолиться о нем».

Было много случаев, что батюшка, не дожидаясь письма, сам писал кому-либо — в тревоге и заботе; и всегда потом оказывалось, что его письмо было уже ответом на тягостные недоумения или скорбные чувства, и потому поспевало как раз вовремя, приносило разрешение сомнений и утешение. В письме же раз старец за целые

полгода предупреждал одного своего духовного сына об угрожающей ему опасности, но как тот не обратил должного внимания на слова старца, то и испил чашу больших скорбей, да и то еще смягченных усиленными молитвами старца.

Однако до́лжно сказать, что старец всячески старался замаскировать свое прозорливое «чувство»: то как бы шуткой, то обращая все в дело «простое и обыкновенное». А между тем ему хорошо было известно состояние души — он как бы читал в открытой книге, не подавая вида. Один раз человек, близкий ему, согрешил и только что хотел было открыть уста — поведать старцу о своем падении, а батюшка уже говорит: «Я знаю!» — «Как так?» — «Да так... Я чуток на эти вещи-то...» И потому на исповеди он иногда помогал своими вопросами, как будто вперед знал об определенных грехах.

Иногда батюшка неожиданно говаривал: «Ну, сегодня, пожалуй, N приедет!» И верно: N приезжает. Или так: «Что-то думается мне, письмо должно быть сегодня от X». Письмо такое, действительно, привозят, и старец, весело улыбаясь, говорит, както по-детски выставляя свою удачу: «Что, батенька?.. Я ведь говорил... Вот оно!» — и при

этом как бы поддразнивает письмом. И это особенно часто повторялось в 1911 году в отношении одной курсистки, переживавшей душевную драму, но очень верующей и преданной старцу. Батюшка старался помочь ей своими письмами, и, действительно, поддерживал ее, близкую к отчаянию. Иногда он прямо по имени называл человека, которого видел впервые. Люди простые считали это вполне естественным для такого старца, а интеллигентные подчас и спрашивали не без любопытства:

— Как, вы знаете это, батюшка? Разве вам кто говорил?

— Нет, никто не говорил! Так уж это — само собою как-то вышло...

Между тем весть о новом благодатном, мудром и любвеобильном старце приводила в Елеазарову пустынь все новых богомольцев; среди них часто обращались к батюшке и с телесными болезнями. Принесли на руках одну девочку — лет 11–12: она не могла ходить уже несколько лет; мать ее с плачем жаловалась старцу на это несчастие и просила его помолиться. Батюшка почему-то сдавил девочке большой палец босой ноги, беспомощно висевшей — она вскрикнула от боли. А батюшка весело

сказал: «О, да она еще ходить будет! Пойдите в собор (Елеазаровский), помажьте ножки-то маслицем из лампады от Царицы Небесной — помажьте, она и выздоровеет». Через несколько лет какая-то девушка настойчиво добивалась непременно видеть старца, хотя он был болен и никого не принимал. Когда все-таки он допустил ее, в ноги ему поклонилась та самая девушка, которую приносила мать; она действительно исцелилась после помазания маслом, и вот уже несколько лет ходит, окрепла и выросла так, что батюшка едва и узнал ее.

На руках же принесли раз высоченного роста мужчину: он тоже не мог ходить несколько лет от злейшего ревматизма. И его батюшка направил в собор — помолиться Матери Божией и помазать ноги маслом от Ее лампады. Этот мужичок (по имени Григорий) тоже совершенно выздоровел и часто ходил к старцу, питая к нему полное благоговение и благодарность. Однажды приехали к старцу из разных мест, но остановились в одном номере старой Елеазаровской гостиницы две женщины, и обе были больны совершенно противоположными недугами: одна страдала сильнейшими кровотечениями, которые совершенно

изнурили ее, а другая, наоборот, вовсе лишилась очищения крови, и обе просили батюшкиных молитв и совета. Батюшка той и другой дал один совет: взять масла от лампады Цареградской иконы Божией Матери (что в Елеазаровском соборе), согреть его у себя дома и затем как можно обильнее натереть им живот. Они тотчас это сделали тут же у себя в номере, и на другое же утро обе радостные прибежали к старцу: в наступившую ночь каждая из них почувствовала, что исцелилась от недуга своего. Они со слезами кланялись батюшке в ноги и благодарили его за исцеление. Но старец, разделяя их радость, внушительно им заметил:

— Я тут ни при чем — Царицу Небесную благодарите!

Но так как подобные случаи не оставались неизвестными народу, то батюшка стал более прибегать к гомеопатическим лекарствам — давал больным капли и крупинки, и многих вылечивал от серьезных и трудных заболеваний. Правда, он и сам любил гомеопатию и лечился ею. Но тем не менее часто ему приходилось слышать от тех, кому он помогал выздороветь:

— Да вы и воду благословите — так и от воды здоров будешь...

Соединяя эти гомеопатические лекарства со словами утешения и властного совета, батюшка более всего помогал нервно расстроенным, близким к отчаянию и сумасшествию. Он удивительно влиял на них своею кротостью и смиренною тихостью, и без сомнения многие из них с великой благодарностью будут хранить в своей молитвенной памяти образ батюшки старца и его полное любви обращение с ними. Иногда старец больным головой приказывал подойти к нему непременно первыми после его служения и приобщения. И когда они подходили, он, показывая им свои руки, с каким-то особенным чувством говорил: «Вот эти руки сейчас держали Содержащего всяческая...» — и при этих словах крепко обнимал голову больного (или больной), мягко сжимал ее и затем трижды благословлял: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», приговаривая: «Не хворай больше», — или так: «Ну, будь здорова — не болей!» И Господь, по молитвам старца, всегда подавал больным облегчение и даже полное выздоровление. В Казани, например, батюшка таким возложением рук, после того как причастился, силой Христовою исцелил от сильной лихорадки одного

господина, который имел к нему большую веру и любовь. Батюшка сам об этом случае вспоминал с чувством духовной радости и благоговения, как о примере чудотворной силы Святого Причастия.

Строительство домовой церкви и служение в ней

Духовные дети и почитатели батюшки-старца видели, как трудно ему самому вычитывать все церковные службы, и вместе чувствовали (хотя батюшка ничего не говорил), что в большие праздники ему хотелось бы самому послужить литургию, а между тем ходить в собор и выстаивать там длинные службы он уже не имел силы. Поэтому в начале 1910 года явилась мысль: устроить для него домовую церковочку, в которой он мог бы всегда сам послужить или вообще иметь утешение от церковной службы. Батюшка получил письменное предложение об устройстве храма поздно вечером, и тем не менее тотчас же начал в великой радости соображать и размеривать план будущей пристройки алтаря. Решено было к одной из комнат пристроить

с восточной стороны деревянный сруб — алтарь, выбрать стену в комнате, заменить ее иконостасом — и храм будет весьма удобный. В этом принять участие Господь расположил и Великую княгиню Елизавету Федоровну: она соизволила дать от себя сперва некоторую сумму денег, а затем пожертвовала иконы в иконостас (рисунок которого был сделан по ее мысли и под ее же наблюдением), подсвечники к ним, одеяния на престол и жертвенник и облачение для самого батюшки. Начали дарить батюшке все необходимое для храма и другие почитатели его, кто что мог: лампадки, иконы, облачения, сосуды, кадила, ковры, богослужебные книги, ладан, вино, свечи. У всех духовных детей его была какая-то особая радость по случаю устроения сего храма. Вероятно, Господь слышал молитвы старца, который в умилении духа изливал пред Ним свои молитвы за всех своих благодетелей, каковыми он почитал всех помогавших созидать храм. У него была потребность всех благодарить без конца, он писал восторженные письма, часто с умилением плакал и вообще переживал создание алтаря Господня всею душей. Поэтому же он решился сам съездить в Москву —

лично благодарить Ее Высочество Великую княгиню Елизавету Федоровну за ее пожертвования. Прием был такой высокомилостивый, что батюшка с дерзновением обратился к Ее Высочеству с просьбой — соизволить посетить Елеазарову пустынь и почтить своим присутствием освящение храма, тем более что одновременно должно было состояться освящение и теплого монастырского храма после капитального ремонта. Ее Высочество изволила дать свое милостивое согласие на приезд, и батюшка уехал в свою пустынь весьма радостный. Это было в июне, а освящение храмов было предположено на 5 и 7 августа.

К назначенному времени съехались многие духовные дети старца — академисты; в числе их был преосвящянный Иннокентий. Ко дню же приезда Ее Высочества собрались тысячи народа, представители власти гражданской, Псковский архиепископ Арсений и прочие лица. Торжества были преисполнены все время молитвенным подъемом, так что не казались утомительными ни продолжительные уставные службы, ни постоянные беседы старца с его гостями. Батюшка все время был в тихой радости, умилении и молитвенном состоянии.

Освящение его храма было совершено 7 августа, во имя Архангела Гавриила и прочих Небесных Сил Бесплотных. Батюшка сам принимал участие в освящении и переживал такие минуты сладкого утешения от Бога, что еле-еле мог сдерживать себя от плача, и то все-таки иногда неожиданно всхлипывал. «Уж больно, батенька, любовь-то Божия велика», — говорил он.

Дыхание этой любви Божественной он ощущал и переживал во всем, и в беседах с гостями старался объяснить им, что, если бы не было утешения от Духа Святого, не могли бы все в таком большом обществе чувствовать себя столь хорошо, радостно и благоговейно-молитвенно. На самое собрание многих лиц, во главе с Великой княгиней — сестрой Государыни Императрицы, батюшка смотрел тоже как на явление Божественной любви — по смыслу церковной стихиры: *«Днесь благодать Святого Духа нас собрала»*, и потому относился ко всем гостям как к посланникам Божиим. Иногда во время беседы он неожиданно умолкал и, помолчав, обращался к своим детям духовным с каким-то особенно ласковым и как бы просительным взором: «А что — не спеть ли нам "*Достойно есть*" афонское?»

Сидевшие за столом гости, главным образом академисты-монахи, начинали петь умилительное «Достойно есть», а батюшка, поникнув главой, предавался всем сердцем сладостной молитве и под звуки афонского напева лил тихие слезы благодарности Царице Небесной, ибо Она обещала ему: «Я — твоя Покровительница!» Таким же образом пели еще «О Тебе радуется», «Совет превечный» и многое другое из церковных песнопений. Водворялась внешняя и внутренняя в душах тишина, только молитвенные звуки лились как бы в самую душу. Чувствовалось дыхание благодати Святого Духа, и было такое настроение, как в Великую Субботу у Плащаницы, когда поют: «*Да молчит всяка плоть человеча, и ничтоже земное в себе да помышляет*».

С 9–10 августа гости стали постепенно разъезжаться. Батюшка в своем уединении всецело теперь отдался молитвенному переживанию своей радости о новом храме, в котором первые 40 дней по освящении ежедневно совершались литургии (ранние). По прошествии сих дней служили обычно три раза в неделю: в субботу отправлялась служба заупокойная, в воскресенье — воскресная, и в понедельник —

Бесплотным Силам (по гласу октоиха). Батюшка старался служить сам каждый понедельник. «Надо еще Ангелам усерднее помолиться...» — пояснял он, в том, вероятно, намерении, чтобы Ангельские Лики, пламенеющие любовью ко Господу, прияли его по смерти в Царство вечной любви Христовой.

Пение в храме он любил негромкое, умилительное, чтобы больше пелось заупокойных стихир или покаянных. Когда сам не служил — сидел (или, при слабости, лежал) в своей комнатке, откуда ему было ясно слышно все пение и чтение. Но к концу службы (всенощной или обедни) батюшка старался непременно выйти в церковь и, держась левой рукой за косяк арки, благословлял всех богомольцев, причем часто тут же давал и ответы на вопросы. Если батюшка долго не выходил, народ все-таки ждал его терпеливо. А когда он был болен, то келейник сразу же после службы объявлял, что «батюшка болен и благословлять не будет». И было заметно, как все делались печальными, озабоченными и выходили из старцева домика далеко не утешенными. Ибо все очень любили, чтобы батюшка дал свое благословение. А давал он его не всегда

и не всем одинаково: иногда перекрестит как-то особенно истово, иногда молча, или — со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», или скажет другое какое-нибудь слово; иному почему-то дает благословение с видимой неохотой, как бы только по необходимости, между тем другого и благословит хорошо, и даже на голову руку положит с особой лаской и участием — все это он делал, может быть, тоже по внутреннему чувству, ибо богомольцы постоянно менялись и были в большинстве лично неизвестны ему.

С течением времени в этом храмике батюшки образовался как бы свой постоянный причт: иеромонах отец С. (бывший келейник), четверо певчих и несколько чтецов; они хорошо правили службу — по крайней мере, приезжие богомольцы всегда с удовольствием посещали старцеву церковочку, в которой и стоять-то было тесно, а зимой и душно. Конечно, более всего их привлекало служение самого батюшки. Он служил особенно молитвенно. Даже обычные и всем известные Евангелия, возгласы и молитвы в его произношении получали какую-то особую силу настроения; оно захватывало людей даже с холодной

душой и приводило в умиление, согревало сердце покаянием и слезами. Выше было уже сказано, что батюшка после видения Небесной Евхаристии не мог без слез произносить слов: *«Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся»*. Голос его прерывался, из глаз источались слезы и весь он внешним своим видом как бы совершенно отрешался от земли и, забывая всех окружающих, наполнялся в сердечном чувстве своем горними переживаниями и благоговейнейшими молитвами. Иногда в такие минуты батюшка никак не мог удержать своего плача. Из алтаря слышались его всхлипывания и, смешиваясь с пением хора, производили потрясающее, неизгладимое впечатление на предстоящих. Но батюшка всегда смущался, когда кто-нибудь начинал разговор после обедни о таком плаче его — он начинал извиняться и в объяснение говаривал:

— Не могу видеть Пречистого Тела Христова, обагренного кровью. Ведь это — за нас все! И чувствуются — прямо-таки чувствуются страдания Христовы и любовь-то Его безмерная. Вот и не могу не плакать, хоть и удерживаю себя... Да ведь и голове-то больно, если сдерживаться... А волю дать себе

(плакать) — боюсь вас соблазнить... Уж вы простите меня!

Конечно, окружающие старались успокоить батюшку, что никто не соблазняется его плачем, а только умиляются. Но, видимо, батюшка имел основание опасаться за отношение других людей; ибо были случаи, что и осуждали батюшку за его плач, почитали его чуть ли не показным, деланным нарочно для народа. Другие, наоборот, начинали уже неумеренно превозносить его за такое служение с плачем. Одна дама в письме высказала пожелание приехать к батюшке специально для того, «чтобы еще раз послушать плач его и согреться сердцем». Слова эти: «послушать плач» — были очень не по духу старцу, и он, весь съежившись, с неудовольствием сказал:

— Вот еще что выдумала-то: «*послушать плач*!» Да что: для них я, что ли, плачу-то? Ах ты Господи — глупость-то какая! — И, несколько помолчав, прибавил уже с оттенком внутренней серьезности: — Я, батенька, не натягиваюсь ведь, а сдерживаюсь, чтобы не плакать! Ведь это само приходит — молитвенное озарение-то... Я тут ни при чем! Страшно отвергать его, страшно и отдаться — заплачешь, сознавая свое

убожество, при виде благости-то Божией... А вон как это понимают! Вот и боюсь: не смутить бы кого...

Так оберегал батюшка мир каждого человека, боясь вызвать какую-либо осудительную мысль в душе.

В последние четыре года жизни батюшка стал уже слабеть силами. Служить ему было трудно, особенно в духоте переполненной народом маленькой церковочки. Между тем благодатные переживания его в служении становились, видимо, все сильнее, он больше плакал, а удерживаться ему было и больно, и непосильно. Поэтому он иногда давал распоряжение совершенно запирать дом для посторонних богомольцев, особенно когда одновременно шла служба и в монастырском соборе; и тогда сам служил в сладость, не стесняясь своих домашних. Великим же постом, первую и Страстную недели, уже обязательно проводили у старца в полном уединении, на запоре от всех посторонних. Все настраивались соответственно важности времени, в доме царила несколько необычная тишина. Истово, со всем усердием совершались церковные службы, и, несмотря на малые силы поющих и читающих, вычитывалось

и выпевалось все положенное по Уставу. Все уставали, но вместе и радовались, что Господь подает силы и утешение в такой молитве. На Страстной неделе батюшка иногда, бывало, наденет мантию, схиму и сам споет свой любимый светилен: «*Чертог Твой вижду, Спасе мой*». Старческий голос дрожит от умиления и слабости, в нем слышно сдерживаемое рыдание, звуки иногда не доходят до нужной высоты, но все еще по-прежнему приятным голосом батюшка поет и поет: «*И одежды не имам, да вниду в онь...*» Пропев, он кланяется на клирос и затем, окончив эту официальную, так сказать, часть, уже вовсе не официально, по-домашнему — просто сделает жест рукой и как бы про себя скажет певцам: «Нет — не гожусь!»

Точно так же в полном схимническом одеянии батюшка выходил и к литургиям. Служил он их с величайшим умилением и плакал уже без стеснения, ибо кроме своих домашних никого в церкви не было. С таким же особенным чувством читал батюшка и первое Евангелие Страстей Господних. Начнет читать стоя, но от слабости и волнения уже скоро просит дать стул, и затем сидя доканчивает чтение. Слова же Христовы

о любви не мог читать без слез, и часто настоящее рыдание прерывало звуки его голоса. И надо сказать, что в таком чтении действительно и для слушателей открывалась благодатная сила евангельских слов, либо новая сторона в известных уже словах.

Но удивительно: в пасхальную ночь батюшка совершенно преображался; откуда бралась у него бодрость?! Движения были быстры, энергичны, голос звучал твердо, осанка была какая-то величественная, выражение лица радостное, даже блаженное, и во время литургии пасхальной он никогда не плакал. Наоборот: весело улыбался и громко говорил приветствие «Христос воскресе!» В эту ночь он не боялся и простуды: ради народа, стоящего во дворе, служил при открытых окнах, кадил в окно богомольцам и сам даже раздавал антидор — тоже в открытое окно, тогда как обычно достаточно было посидеть ему с открытой форточкой, чтоб простудиться и заболеть.

По поводу пасхальной радости как-то раз спросили батюшку:

— Почему это с годами радость все уменьшается, тогда как в детстве и юности наступление Пасхи чувствуется всем существом,

вся душа насыщена светлым праздником; почему теперь этого нет?

Батюшка на это ответил:

— Потому что теперь совесть нечиста. На сердце чистое радость сама приходит, да и не может оно не радоваться, ибо близок к нему и Ангел Хранитель. А с годами и ум, и слух, и зрение, и воображение — все засоряется грехом... И понятно: всякая радость духовная не успеет дойти до сердца, а уж загаживается в нас и пропадает...

— А можно ли вернуть ее?

— Конечно, даже обязаны! «*Если не будете как дети, не войдете в Царствие Божие*».

— Какое же средство для этого?

— Средство — покаяние, очищение от грехов, самоохранение.

Такие же мысли о пасхальной радости в сем веке и в будущем выражены батюшкой и в его многочисленных письмах — поздравлениях к Пасхе.

После Пасхи батюшка опять служил уже со слезами. Когда по слабости сил он не мог сам служить, то считал это для себя большим лишением, ибо несомненно, что он во время служений сподоблялся от Бога многих откровений и молитвенных

озарений. Об этом он и сам проговорился. Как-то раз, войдя в алтарь со своим духовным сыном — архимандритом Г., он, указывая на стоящий возле престола свой аналой, сказал:

— Этот аналой вы, батюшка, после меня себе возьмите! Я мно-о-ого тут пережил... Когда пошлет Господь озарение в молитве — тут ведь и себя позабудешь, не чувствуешь, где стоишь... Вот я возьму да и обопрусь на него — вот так...

И батюшка показывает, как он при служении литургии опирается на аналой левым локтем. Это положение старца у аналоя действительно было хорошо известно всем служащим с ним.

В служении батюшка был очень красив; об этом было уже сказано прежде. Но он служил без деланных аффектов — наоборот: не любил их, держал себя просто и вполне естественно, иногда даже как-то по-домашнему. Например, любя благоговейною любовью всякую святыню, он не натягивался на деланное благоговение, но был свободен во всем поведении: мог разговаривать, шутить, делать замечания и почти тотчас опять переходить к умиленному настроению, даже со слезами. Однажды

батюшка, с умилением слушая на часах Великой Среды чтение Евангелия, вдруг заметил, что при словах: «*И по хлебе вниде в онь сатана...*» — неожиданно в церковь вошел, страшно скрипя сапогами, толстый седой купец, и батюшка тут же по-детски рассмеялся, удивляясь такому странному совпадению, поделился своим настроением с служащим отцом Г. — и того насмешил. А потом опять по-прежнему слушал часы и благоговейно совершал литургию.

Батюшка был во всем аккуратен, а в службе церковной — особенно. Не любил он, когда кто-нибудь опаздывает и копается, затягивает или, наоборот, бесцельно спешит. «Монах должен быть аккуратен», — говаривал он, и сам задолго до назначенного времени бывал уже готов и на своем месте. В последние годы он, служа литургию, раньше всех приходил в храм, вычитывал входные молитвы, облачался, опять уходил к себе в кабинетик и там в полном уединении поджидал сбора всех служащих, читающих и поющих, иногда же приходил в алтарь уже к концу часов — к самой литургии. Делал он так по слабости сил — ему трудно было сразу после движений

с облачением стоять у престола, а с другой стороны — и для того, чтобы лучше настроиться к совершению страшного Таинства.

Бывали случаи, что батюшка говорил и поучения народу в конце литургии, особенно когда сердце его поражалось каким-нибудь евангельским словом или зажигалось озарением от молитвы. Эти поучения были очень просты и понятны, но дышали такой силой чувства и глубиной мысли, что люди с высшим образованием не могли бы сказать лучше и сами слушали слова его, затаив дыхание. Иногда плакала вся церковь, плакал и сам старец. Это были жгучие минуты и незабвенные картины.

Иногда в отверстых Царских вратах и в полном облачении, иногда же где-нибудь возле иконостаса и просто в рясе с наперсным крестом, седой согбенный старец с голубыми ясными глазами, или сидя в кресле, как патриарх или отец, беседует он со своими детьми, и лицо его все время меняется — в зависимости от того, о чем он говорит. А более всего он говорил о беспредельной любви Божией, и лик его был каким-то восхищенным, или же, потупив глаза и склонив голову, батюшка умолкал,

подавляя рыдания от полноты своего чувства. Еще воодушевляла батюшку любовь Ангельских Сил и мучеников: как она делает пламенными и самих Ангелов, и как та же любовь в мучениках вела их на все муки за Христа, и как ее силою они претерпевали, не замечая, все страдания, поругания и ужасы мучений. Такая всецелая, захватывающая любовь сильно воспламеняла сердце старца: он сам розовел от воодушевления, глаза его блестели, и он, обводя взором слушателей, ободряющим голосом утешал плачущих:

— Вот какова любовь-то Христова! Так неужели же Господь нас оставит? Или Ангелы нам не помогут? Или угодники Христовы о нас не помолятся?! Да быть этого не может! Так уповайте же на Бога — Бог не оставит!

Вообще батюшка всегда старался поддержать бодрость духа, вселить интерес к спасению, прогнать уныние и скуку, ибо они суть первые враги спасения, и любил поэтому более говорить об утешениях Христовой любви, которая и есть самый Рай наш — и на земле, и на небе, а не об ужасах мук, наказаний или страданий. Если когда он и содрогался от ужаса, или, как он

говорил, «застывал сердцем», так это от одного представления, что за грехи можно лишиться Духа Божия и быть отторженным от любви Христовой. Поэтому и единственной угрозой его в проповедях было: «Берегитесь оскорблять Духа Божия — за это гнев Божий приходит! А кто Духа Христова не имеет, тот и не Христов. Старайтесь не грешить!» Просты эти слова, однако после жгучих со слезами слов о сладких утешениях Духа Божия и любви Христовой они имели силу бóльшую, чем многие мудреные слова и доказательства. Конечно, простота эта была не что иное, как непосредственно опытное познание тайны спасения прежде всего в себе самом. Для батюшки было ощутительно ясно, что Бог всюду всегда с нами, и притом — весь Он, со всеми Своими Божескими свойствами, со всею неисповедимою любовью. Оттого, например, на вопрос: «Батюшка, научите: как молиться просто, по-детски?» — он отвечал ласково, улыбаясь:

— Да ведь что — Бог-то все видит ведь и все знает — вот и все! Чего там еще? — и отмахнется рукой, как от каких-то надоевших ему хитросплетений, когда на самом деле все так просто, очевидно и доступно...

Старец-утешитель

Эта простота чувства, простота поведения, слова и мысли были отличительными особенностями старца во всей его жизни. Он не требовал никаких услуг, старался все сделать сам, а когда от слабости вынужден был принимать услугу других, то всегда за них ласково благодарил, отдаривал и вообще никоим образом в долгу не оставался. Окружающим он отдавал все, что, по его замечанию, им нравилось, и к вещам никогда не был привязан. Зла он ни на ком не помнил, а наоборот, сам старался, если это полезно для брата, идти к нему с лаской, шуткой, любовью. Как дитя, он весело радовался обо всем достойном радости; был жизнерадостен, шутлив и по-детски смеялся остроумным рассказам и смешным положениям. С ним никто никогда не скучал, так как батюшка мог и умел поговорить с каждым человеком, какого бы ни был звания и состояния. Чистый, как дитя, не терпел батюшка лишь намеренных грязных разговоров и намеков, и сам был в этом отношении настолько осторожен, что даже на исповеди опасался, как бы откровенным вопросом не натолкнуть мысль невинного

человека на еще неведомый ему грех. Мало того — он мудро дозволял известную свободу поведения чистому человеку — вероятно, по слову апостола, что *«чистому все чисто»* (Тим. 1, 15) и *«праведнику закон не лежит»* (Тим. 1, 9). Поэтому он с негодованием отвергал попытки неопытных «подвижников» навязать узду строгостей другим людям, отвергал именно потому, что узда эта была «без благодати», скучная, ради самой только строгости, и могла вызвать вопрос: «Для чего это? А почему так нельзя?» — и пришлось бы давать объяснения как раз такие, которые наталкивали бы на мысль о каком-нибудь скрытом грехе, и пропала бы святая простота. А о ней батюшка так говорил: «Она от Духа Божия подается. Человек сам ничего не приобретет, если Бог не подаст. А даст — так будешь как дитя. Ребенок — как? — все просто принимает и живет одним чувством. А мы много знаем, много помним; все это разбивает и рассеивает нас». В другой раз сказал, что «простота есть невинность души». Поэтому-то он так и оберегал ее — и в себе, и в других.

Кроткий, любящий, батюшка всемерно старался быть со всеми в мире, поддерживал мирность и между всеми близкими к нему,

и очень страдал и расстраивался, если узнавал о разрушении мира и любви между духовными чадами своими. Он старался примирить их своими письмами, беседами, даже готов был на какие угодно пожертвования и подвиги со своей стороны, не говоря уже о молитве, лишь бы воцарить мир и любовь Христовы. Об этом хорошо знают примиренные им супруги, семьи, братья, друзья... Эта же мирность и взаимность были спутниками и везде, где был батюшка, ибо он умело утишал в окружающих все вспышки неудовольствия в самом зародыше и боролся с ними всеми силами своего авторитета и слова. «Мне желательно только, чтобы у нас всегда все было благодатно», — так говорил он, и потому всегда во всем у него на первом плане была самоотверженная любовь ко Христу и о Христе. В его глазах, так сказать, все разделялось на любовь и противоположное ей, все действовали или «по любви», или — «не по любви». Если кто-нибудь шумел в доме, когда другие спали, это — «не по любви»; если кто опаздывал без причины и заставлял других ждать его — «духа любви в нем нету»; нехорошую шутку скажет кто, опять — «без любви живет». Оттого батюшка сам был чрезвычайно

предупредителен, внимателен ко всем во всех нуждах, без мелочной угодливости и надоедания. Рано вставая, он умывался чуть слышно и никогда не стучал ни ногами, ни дверьми, делал все нарочно бесшумно, чтобы дать отдых келейникам и вообще спящим. Любя порядок, не требовал порядка и услужения для себя лично, а когда видел услугу — принимал ее как «дар любви» и платил за нее любовью же самой трогательной. Особенно нужно сказать это в отношении его забот о келейниках и духовных чадах, гостивших у него. Если кому из них случалось заболеть — батюшка весь делался вниманием, заботой; глаза его смотрели удивительно нежно; он постоянно приходил в комнату, где лежал больной, и, легонько касаясь его лба или лица, так ласково спрашивал:

— А головонька-то болит, батенька? А?

И, севши рядышком, начинает интересоваться: не нужно ли чего? Не хочется ли попить, поесть, перевернуться, потеплее укрыться? А сам внимательно так и пристально смотрит — не утомить бы больного!.. Сам приносит лекарство, копошится в гомеопатическом лечебнике и выискивает способы помочь. Иногда он, знавший

много народных средств лечения, советовал пользоваться и ими. Когда же все средства исчерпывались и не было возможности тотчас пригласить доктора, батюшка возлагал все упование на Бога и начинал усиленно молиться, давая при этом обеты. И больные начинали поправляться. Но зато батюшка обетами этими стеснил себя ужасно.

Конечно, не нужно и говорить о том, что действиями батюшки руководила здесь только одна любовь, и потому, когда больные его поправлялись, он радовался более самих выздоровевших, обнимал их, целовал и ласкал, как мать любимых детей. Бывало, смотрит на кого-нибудь любящим взглядом, потом неожиданно подымется: «Дай я тебя поцелую!»; или: «А ну давай поцелуемся!»; или: «Батенька, можно мне прижать тебя?» — и при этом нежно обнимет и так крепко сдавит своими теплыми ручками, а сам как бы с тревогой спрашивает: «Не больно? Не больно?» — «Да нет, батюшка! Крепче!» Он еще сильнее сожмет: «Не больно?» — «Крепче, батюшка!» — «Нет! — скажет, — боюсь, раздавлю», — и отпустит. Для него и все взрослые были те же дети, и он и обращался с ними, как мать родная. Когда

угощает чаем или обедом, он уж и сахару-то кладет побольше, и сливок-то льет через край (с восклицанием: «Ух!»), все приговаривает: «Кушайте во славу Божию, родной мой!»

Иногда некоторые отказывались от какой-нибудь еды: «Нет, батюшка, я этого не ем!», или: «Не могу этого есть»; а батюшка спрашивает: почему не кушают? И если оказывается, что просто не любят, или хотя и любят, да для желудка вредно, батюшка возьмет да нарочно положит такой кусочек и угощает: «А вы покушайте — это ведь полезная вещь», и начнет уговаривать: «Ничего, не бойтесь! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! — благословляет он, — кушайте во славу Божию, истинно ничего не будет — еще здоровее будете!» Гость начинает есть — со страхом или с отвращением. Но почему-то пища не кажется такой противной, а батюшка еще кусочек подложит, да еще... И каждый раз благословляет его: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа — кушайте, здоровее будете». Таким способом батюшка многих научил есть то, что они боялись есть, и им шло это действительно во здравие и спасение.

Такой же заботой батюшка окружал своих гостей и во всех других отношениях.

Если в гостинице было холодно спать, он посылал своим гостям одеяла, свои ватные подрясники, шубы; давал подушки, вообще — все, в чем, по его мнению, могла быть нужда. Такая ласка действительно могла быть только у родной матери, и батюшка являл ее всем, кому сколько было полезно. Однажды, желая утешить своего духовного сына, только что лишившегося матери, батюшка писал ему письмо и в конце поместил такие слова: «Если тяжело вам и есть возможность, то приезжайте ко мне. Я надеюсь, что будете и здесь согреты теми же объятиями *материнской любви моей*... Простите, что я так выражаюсь! Но думаю, что это — правда, и что я — не хвалюсь...»

На такую любовь и ласку, на такой отечески мудрый совет и стекались к батюшке каждое лето многочисленные богомольцы и гости. С первых чисел мая и до конца августа в домике у старца было полно их, особенно в последние 4–5 лет. Тут были и академисты (владыки, архимандриты, иеромонахи, студенты, чиновники, священники), и люди высшего круга, и простецы, и дамы, и барышни, и купцы, и монашки из разных монастырей, и притом целыми группами, семьями. Никто, конечно,

не считал, сколько перебывает за лето народу и гостей, но бывавшим у старца известно, что несколько лет подряд за стол у него садилось от 10 до 18 человек. И так как батюшка не получал никакой пенсии и гостей своих кормил не с монастырской трапезы, а всегда старался угостить их столом своего домашнего приготовления, то гостям его приходилось поддерживать старца в его расходах своими средствами, почему у монахов-академистов существовало даже соглашение между собою: посылать батюшке поочередно кто сколько мог. Многие вместо денег привозили с собою для батюшкиного стола разные припасы, и все это шло на общее всех гостей утешение, соединяя всех взаимностью, радостью общения в столе и молитве и личностью одного любимого старца-батюшки. Получалась единая сплоченная духом семья, и потому встречи даже вне старцева дома, где-нибудь на стороне, всегда бывают отрадны для членов этой семьи и поднесь.

Каждый год приходили к батюшке монашки и послушницы из псковских женских монастырей. Бывало, собирались целым клиросом, со своими нотами и регентшами, и тогда в малом храме шла служба за службой:

певчие говели и сами себе пели всенощные и обедни. Это было одно сплошное торжество и для батюшки, и для них. Батюшка утешался их службами, а они, в свою очередь, не отходя от старца, утешались у ног его задушевными беседами о спасении, послушании, терпении и взаимной любви. Устанет говорить батюшка — они пропоют ему что-нибудь церковное, умилительное, или свои печальные, трогательные псалмы. Иногда батюшка угостит их чайком, кваском или чем случится, а иногда даст им с собой в гостиницу всякого утешения съестного. Можно сказать, что он многих из них совершенно перевоспитал духовно, обновил и заложил верное понимание спасения и стремление к нему. Когда батюшке случалось бывать в Пскове, он таким же образом беседовал со всеми насельницами Ивановского и Вознесенского монастырей: они собирались всей обителью в зал игуменский и пели, а батюшка, взяв тему от пропетых ими церковных песнопений и умилившись ими, начинал сладостные, утешительные беседы о спасении. Сестры в это время сидели где кто мог, а большинство — прямо на полу, и со слезами слушали новые слова; пред сердечными

глазами их раскрывались новые пути к Богу — такие увлекательные, что хотелось всем скинуть с себя бремя грехов и в свободе Христовой идти во след Его. Все умиротворялись духом, многие говели, почти все освобождались от послушаний на это время, и торжественные служения с участием самого старца были для них истинным монашеским праздником. Великое было для всех тогда утешение, ибо Утешителем-то был Сам Дух Святой, Имже «всяка душа живится и чистотою возвышается».

Такой же характер духовного воодушевления и мира соединялся и с приездами батюшки в Москву — в Марфо-Мариинскую обитель милосердия, в которой он бывал по приглашению Великой княгини Елизаветы для духовной поддержки сестер и своего лечения.

Последние годы жизни старца

С 1912 года батюшка стал заметно слабеть. Появились признаки усиливающейся сахарной болезни; часто болела печень, и эти мучительные приступы очень изнуряли батюшку. Желудок отказывался

работать. Пищеварение было совершенно неудовлетворительным, и, кроме молочной пищи и разных кашиц, почти ничего невозможно было есть. Батюшка стал худеть и заметно горбился. У ряс и подрясников его приходилось постоянно подрезать передние полы. Подрежут — а немного погодя батюшка уже опять наступает на них, и опять укорачивать надо... Все чаще батюшка заговаривал о своей смерти. Духовные дети его принимались плакать и умолять еще пожить, хотя бы ради пользы их и спасения. Батюшка как бы не мог отказать:

— Да, вас-то мне жаль — так жаль, что и высказать не могу!

Действительно, на время он переставал говорить о смерти, и все успокаивались. А батюшка немного погодя опять скажет о том же, но уже в другой форме:

— Эх — спешить, спешить надо!.. — вдруг вырвется у него с подавленным вздохом.

— Куда, батюшка, спешить? — недоумевают близкие.

— Каяться надо! — грустно скажет батюшка, — надо всю жизнь перебрать, все грехи оплакать...

И батюшка положительно отдыха себе не давал: сидел ли, лежал ли, служил ли

в церкви — всегда с мокрыми от слез глазами просил он себе прощения за всю жизнь, в которой он «так много получил от Бога». Так как здоровье все слабело, то батюшка охотно сдавался на убеждения и приглашения своих почитателей полечиться — то в Москве у Ее Высочества, то в Пскове, то у приезжавших к нему врачей. «Мне желательно только служить бы», — объяснял он причину своих поездок для лечения. Здоровье ему нужно было для молитвы и покаяния, да, пожалуй, еще горячая любовь к духовным детям — будущим сиротам — как бы вынуждала его держаться за жизнь и подкреплять дряхлеющий организм. В жизни и в людях уже не было ничего нового для него, все надоело и только мешало отдаться неразвлекаемой молитве. Но была его любовь.

— Эх, уходить бы пора (то есть на тот свет), да вы-то не устроены еще, да и И. тоже без меня не может — жаль и его-то... Э-хе-хе! — тяжело вздохнет дорогой батюшка.

Воспользовавшись прибытием в Елеазарову пустынь в 1912 году Великой княгини Елизаветы Федоровны и преосвященного владыки Евсевия, батюшка выразил им

свое желание — построить усыпальницу для себя, с тем чтобы над нею была маленькая часовенка, а сзади — келейка для келейника И., который не хотел расстаться с батюшкой, даже и умершим, и следил бы за усыпальницей. Выслушав объяснения старца и осмотрев место, они соизволили дать свое одобрение и благословение на это дело, и Ее Высочество первая же положила начало благое и пожертвованиям. Узнали и другие, что батюшка начал строить себе могилу, и тоже помогали ему. Не будем перечислять всех подробностей рытья канав, закладки, привоза материалов и кладки фундамента. Батюшка весь ушел в заботы об этой постройке и часами простаивал (вернее — просиживал) возле работавших, ободряя их и помогая советами. Но должно упомянуть, что Господь видимым образом содействовал успеху постройки и этим поддерживал у старца бодрость духа и святую надежду, что дело будет окончено благополучно. Сомнения же вызывались как постоянным недостатком денег и строительных материалов, так особенно несочувствием этой «затее» старца разных лиц. Но в нужную минуту находились и деньги — Бог посылал! Значит, можно было покупать

и камень, и кирпич, и цемент. Но что было делать с теми, кто говорил: «И что это затеял старец? Не все равно разве для мертвого, где лежать?» «Ну, наш старец и по смерти хочет жить по-пански (то есть по-барски)» — ядовито замечали другие при виде стройки. Самая же серьезная задержка готова была явиться из-за леса для второго, жилого этажа усыпальницы. Дело в том, что еще в первый приезд Великой княгини Елизаветы Федоровны батюшка исходатайствовал у Ее Высочества разрешение и поддержку ее на получение казенного леса для бедного Елеазарова монастыря, и этот лес дали; но распланировка и утверждение лесного хозяйства не были окончены, и ко времени постройки усыпальницы — к концу 1912 года — дело находилось еще в Консистории. Рубить лес без ее разрешения было невозможно, и постройка непременно бы остановилась; плотники не могли остаться без платы, а батюшка потерпел бы убытки. В таком тяжелом положении он както раз после обеда подошел к окну и, глядя на лес, вслух сказал:

— Ах, Господи, Господи... — хоть бы Ты ветерок послал да леску бы наломал! Ведь Ты добрее Консистории!

А наутро приходит к батюшке отец игумен и заявляет:

— Ну, старец — диво, да и только: ведь ночью-то ветром лесу сколько наломало! Поедем смотреть — лес все самый лучший повалило!

Батюшка очень был рад и со слезами потом благодарил Бога за милость Его и за лес. Постройка опять пошла своим чередом. Но когда нужно было ставить стропила под крышу, оказалось, что из-за ошибки подрядчика явилась необходимость нарубать еще три венца бревен на центральной части дома. А лесу опять уже нет, нет еще и разрешения Консистории. Нечего делать — батюшка опять воздыхает к Богу вслух:

— Господи, — наломай еще! Ведь только уже 12 бревен нужно!

И немного времени прошло — что-то около 3–4-х часов, как поднялся ветерок, будто бы и небольшой, обычный, но он сделал то, что вскоре пришел игумен Дометий и, улыбаясь, говорит старцу:

— Наверное, батюшка, опять вы молились?!

— А что?

— Бог 12 лесин повалил, и все — как на выбор.

Удивился батюшка и весьма обрадовался. А отец игумен говорит, что уже видел эти деревья — недалеко от скотного двора повалены. Лес взяли и дом достроился без задержки. Батюшка же потом с благоговением и со слезами умиления много раз рассказывал своим гостям об этих милостях Божиих, и вообще весь проникался трепетной благодарностью Богу. Когда были готовы могилы и даже закончена и внутренняя отделка усыпальницы, батюшка заметно успокоился духом. Но при наступившем отдыхе от работ и забот по постройке еще заметнее стала слабость сил батюшки и общая утомленность. Он с трудом стоял на ногах, у него начинала кружиться и болеть голова, уставал сидеть и даже лежать. По временам сильно дрожали руки, ему было холодно, и вообще старость сильно давала себя чувствовать. Ему шел уже 71-й год. Все чаще он высказывал свою постоянную мысль: «А ведь я скоро умру...» Приготовляясь к смерти, он велел привезти из Седмиезерной пустыни свой дубовый гроб и поставил его в келье пред глазами. Немного погодя сшил себе простенькие одежды на смерть и постепенно делал все распоряжения касательно своего погребения.

Вообще, оставаясь с виду прежним «батюшкой» — всегда ласковым, любящим, веселым и таким для всех теплым и уютным советником, близким ко всем нуждам каждого человека, — он тем усиленнее проходил свою внутреннюю работу. По откровению ли какому от Бога — это неизвестно — батюшка ждал себе смерти именно неожиданной, и потому готовился встретить ее, внезапную гостью, каждый день и час; и, как он высказался под конец, готовился в течение целых 26–27 лет. Он в своем уединении, среди молитв и богомыслия, старался, выражаясь его же словами, «промыслить всю свою жизнь». Плодом сего явилась составленная им, во славу Божию, автобиография с описанием дивных милостей ему от Бога. Теперь же мысль о вечности стала постоянной его думой. Это сказалось даже в такой мелочи, как надпись на портрете, который он подарил своей духовной дочери. «Прошу тебя, — писал он, — всегда помнить о смерти; ибо кто о смерти не памятует, тот муки вечной не минует». На деле эта память смертная выражалась у батюшки спешным желанием оказывать всем святую любовь, и особенно выражалась в его усиленной молитве. В этом он видел и совершал

свой подвиг. Молился он всегда, сколько мог, сколько только позволяли силы; и очень жалел, что постоянное нездоровье и слабость вынуждают его прерывать молитву. Такой подневольный отдых он называл «лишением молитвы», ибо в ней он получал теперь дивные утешения и озарения от Духа Божия.

— Теперь ведь мне и молиться-то можно... Страсти меня уже сами оставили, — так он смиренно говорил о себе, как будто никогда не боролся с ними, — так что и развлечения (ума) уже нет прежнего. И прежде я, конечно, тоже молился, да это — все не то... Прежде, бывало, то прилоги разные от страстей смущали, то дела по послушанию мешали, то времени не было... А теперь и Господь-то Сам навстречу идет — только молись... И так ведь сладко Господь-то утешает, — говоря это, батюшка сдерживал рыдания... — Ах, молитва, молитва! И не знал я, что она такое... А теперь вот и узнал, да уж никуда не годен стал... Чуть побольше почитаешь (помолишься) — уж и голова болит, в затылке щиплет, в ушах звон пойдет... Вот и лишаюсь... молитвы... — сокрушается батюшка со слезами.

Случайно открылось в это время, что батюшка, имевший Дарохранительницу

с запасными Святыми Тайнами, приобщался каждый день. Делал он это уже давненько, но совершенно скрытно ото всех. Рано утром, пока все в доме спали, он шел после правила в алтарь и приобщался; потом, намолившись, усталый опять ложился на постель и в свое время звонил келейнику, шел умываться и вообще делал вид, что только лишь встал. Однако лицо батюшкино иногда было настолько светло и благодатно, что даже окружающие наугад поздравляли батюшку «с принятием Святых Таин» — и не ошибались; батюшка несколько смущался и удивлялся — как могли узнать его тайну? — и не подозревал, что от приобщения и молитвы лицо его было светло.

К чему же именно стремился батюшка в молитве? Во-первых, он желал возблагодарить Бога за все полученные милости Его; во-вторых, оплакать все свои согрешения, и в-третьих, наконец, как он сам говорил:

— Мне желательно теперь *сродниться с благодатью.* Прежде-то бывали только отдельные благодатные состояния; а вот нужно прямо-таки усвоить благодать Христову, чтобы она неотходно пребывала... Да надо и с горним миром освоиться, не быть ему чужим — и с будущей жизнью...

Вот какова была его цель; к ней он и стремился всеми силами, к ней теперь направлял все устроение жизни своей, так что и она тоже была как бы молитвой, только деятельной. Об этом он тоже раз сам высказался незадолго до смерти.

— Я всегда старался делать угодное Ему (Богу); особенно вот с болезни моей. И теперь стараюсь, что есть моченьки моей, только не прогневить бы Бога, да угодить и послужить ближнему во благо.

Это служение ближнему батюшка являл и в величайшем трогательном послушании всем — даже своим юным келейникам, и в тайном благотворении нуждающимся, и в молитве за ближних, и вообще во всяких видах любви, чего и перечислить невозможно. В это время любовь его стала какой-то пламенной. Он, например, даже так раз сказал, что «если обретет дерзновение у Бога», то за всех будет молиться, присных ему.

— Да разве буду я покоен (или «совершенно блажен» — выражение забылось), если буду знать, что из моих детей кто-нибудь не со мной, или не спасся, что ли?! — и батюшка даже заплакал, ибо, по его мнению, любовь не может вынести такой страшной разлуки...

Первая мировая война и переезд в Казань

Когда в июле 1914 года началась война, батюшка был сильно встревожен. Все дальнейшие события он переживал как то особенно напряженно. Если уходили на войну призванные, он болел за них душою, благословлял особенно любовно. Когда родители просили батюшку помолиться за сыновей на войне, он близко принимал к сердцу эту просьбу и сам поминал имена сражавшихся. Не довольствуясь теми молитвами и прошениями, которые Священный Синод предписывал возносить за богослужениями, батюшка еще от себя вычитывал разные каноны и молитвы о победе над немцами, и вообще всячески просил Бога о помощи России. Он весьма интересовался всеми сведениями о ходе войны и буквально «ура» кричал на весь дом, когда бывали радостные известия.

Но вот пошла полоса тяжелых военных неудач 1915 года. Много стало осиротевших, вдов и скорбящих о потере близких. Батюшка сочувствовал им всей душою, болел за них, молился, но... что же мог он сделать?.. Эта масса горя как-то придавила его.

Он изнемогал от неутешных жалоб, от множества людей, искавших его утешения и поддержки. Жалостно было смотреть на него, ибо сил у него положительно не хватало. В то же время батюшка стал поговаривать, грустно смотря на свой домик:

— А ведь не придется мне дожить в нем...

Странно было слышать такие слова. Не было никаких видимых причин к отъезду. Но батюшка все усиленнее проводил эту мысль, и когда к нему приставали с вопросом: «Почему так думаете?» — он уклончиво и как бы предположительно говорил: «Да уж и право не знаю... Немец, что ли, выгонит?.. Не знаю!» Не предчувствовал ли он, что настанет уже время, когда темная сила готовится исполнить свою позабытую прочими угрозу: «Я и отсюда тебя выгоню». Мы видели, с какою любовью батюшка заботился об устройстве своей могилы и усыпальницы. А теперь — еще в июле — он уже совершенно определенно откололся мыслию от нее. Зайдя в усыпальницу в 20-х числах июля, он сказал сопровождавшей его духовной дочери:

— Вот видишь, — все осыпается! — и показал палочкой на отпавшую штукатурку. А потом, махнув палочкой, прибавил: — Да

все равно я здесь не лягу, а вот поеду в Казань и умру...

— Да как же, батюшка? Ведь здесь и другие хотели тоже лечь вместе с вами!

— А они — как там хотят! А я в Казань поеду и умру.

Действительно, прошло не более месяца, как военные тревоги и полное нездоровье батюшки побудили духовных его детей просить старца о переезде куда-нибудь из пустыни. Батюшка сам выбрал Казань, и 24-го августа уехал туда с двумя своими келейниками.

В Казань он прибыл 29 августа и остановился у архимандрита Гурия в Духовной академии. Обращала на себя внимание одна странность в его поведении: видаясь со своими казанскими почитателями, он прощался с ними как-то особенно многозначительно — как бы навсегда, и всех благодарил за любовь к нему и услугу. Прошло немного дней, и батюшка уже заболел и вскоре скончался.

Кончина старца[1]

Старец приехал в Казань ночью 29 августа. По наружному виду он был несколько утомленным и нервно взволнованным, но духом, как всегда, весел и бодр. Вскоре стали съезжаться казанские академические иноки, окружившие батюшку нежной преданностью и любовью. Все жили в одном здании и одной семьей, так что батюшка вскоре по приезде оказался в кругу всегда особенно горячо любимых им казанских академических иноков, которые почти все были его духовными детьми.

Прошло немного дней по приезде батюшки, как к его обычному недомоганию прибавилось повышение температуры. Призванные казанские профессора сначала не находили чего-либо особенного в этом повышении, но, констатируя значительное развитие всем нам известного недуга старца, присовокупляли, что этот недуг грозит всякого рода осложнениями и, при возможности осложнений, ручаться за благополучный исход болезни не всегда возможно, что при развившейся сахарной

[1] По воспоминаниям архимандрита Гурия, инспектора Казанской Духовной академии.

болезни осложнения очень опасны. Сначала повышение температуры носило характер лихорадки, через несколько дней был пот. Казалось, что все разрешилось благополучно... Но вот с 19 сентября обозначилось большое повышение температуры, которая уже не спадала. 20-го в воскресенье впервые причастили батюшку. Состояние его духа, несмотря на усиление болезни, тяжелые страдания и сильную жажду, было необычайно высокое. Вероятно, в эти дни дорогой батюшка уже предчувствовал близкую кончину. Он был как-то особенно ласков со всеми. Любовь, наполнявшая его сердце благорасположением ко всему окружающему, выливалась из уст старца следующими словами: «Какие хорошие все люди, какие все добрые!», «Дай я тебя обниму и поцелую». Минуты эти были очень трогательны и знаменательны, слезы невольно вырывались из глаз. Вместе с тем батюшка, то ли от сознания приближающейся кончины, то ли от хлопот, которые, по его мнению, причиняет его болезнь окружающим, не переставал испрашивать прощения у окружающих и многократно пытался брать их за руки и целовать их. 21-го в понедельник температура повысилась, и вместе с тем

началось по временам состояние бреда. Пользующий больного медик хотя сообщил, что за два дня следующих можно быть спокойными и что через два дня он сможет дать более точные сведения о положении больного, однако прописал больному вспрыскивание камфары для поддержания деятельности сердца. Между тем температура не спадала, состояние бреда усиливалось и положение больного ухудшалось. Вторник прошел в томительной скорби. Видно было, что страждущий хотя и лежал с закрытыми глазами, но жил своей особой внутренней жизнью. Рука его часто подымалась для молитвы, уста шептали молитвенные воззвания, всех он узнавал, но говорить ему, видимо, было не под силу. В этот день решили начиная со следующего дня причащать дорогого батюшку по утрам ежедневно Святых Таин Христовых. Утром в среду для Святого Причащения батюшка пожелал сесть в кресло, и сидя, в полном сознании и умилении, причастился.

Вскоре после этого он снова впал в бессознательное состояние, по обычному человеческому рассуждению, но, так как видно было, что дух его не покидал молитвы,

ослабевшая рука часто пыталась подниматься для крестного знамения, и иногда он вполне отчетливо и дерзновенно произносил от начала до конца молитву: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его», то должно полагать, что болящий жил своей внутренней жизнью и даже, быть может, совершал свой последний подвиг предсмертной брани с искусителем рода человеческого. В четверг утром страждущего можно было причастить уже только лежащим. Прочли батюшке исповедание грехов повседневное. Батюшка был в полном сознании. По прочтении исповедания он сказал: «Прости мя, отче, и разреши грешника». Это были последние слова, которые слышали от дорогого батюшки-старца. Была прочитана разрешительная молитва и совершено Таинство Святого Причащения. Видя трудное положение болящего, поспешили созвать наших лучших врачей, чтобы выслушать их мнение. Больной лежал с закрытыми глазами. Еще накануне, часов так в 12 дня, он призвал к себе отца Амфилохия и сообщил ему, что он ощутил на себе некое таинственное наитие благодати Духа Святого, как это было с ним однажды в Седмиезерной пустыни в состоянии тяжкой

болезни. Он стал слабо внятными словами рассказывать о виденной им полосе света, падавшей на него сверху и постепенно уменьшавшейся. «Это к моей смерти», — повторял старец. Конечно, то, что говорил батюшка, складывалось в моем сердце, но не хотелось этому верить, и душа не желала принимать услышанных слов за истину. Призванные доктора могли прийти только к вечеру. Весь этот день старец лежал почти без движения, но, как и раньше, молитва не покидала его духа.

В половине седьмого консилиум констатировал безнадежное состояние болящего, а вторичный осмотр через полчаса подтвердил, что часы страждущего сочтены. Тогда приступили к совершению чина Елеосвящения и совершили его вкупе со всей иноческой братией безо всякого упущения, полностью. Когда над головой страждущего начали читать первую молитву, рука болящего поднималась для крестного знамения, но, поднявшись, опустилась с половины. Глаза были закрыты, уста сомкнуты. По совершении Таинства Святого Елеосвящения батюшка еще жил некоторое время. В полной тишине, как спокойно спящий, под звуки последних слов «Отходной»,

батюшка мирно и благочестно почил о Господе в 11 часов 10 минут ночи 24 сентября 1915 года. Тотчас же по кончине была отслужена о усопшем краткая лития, и затем, по крестообразном отирании тела усопшего елеем, приступили к облачению в погребальные одежды и служению великой панихиды, совершенной глубокой ночью в присутствии всего иноческого братства преосвященным Анатолием, ректором Академии. После панихиды, по почину преосвященного Анатолия, начали чтение Святого Евангелия, каковое чтение и совершалось нами самими все время с помощью иеромонахов Седмиезерной пустыни. Так как покойный по приезде в Казань не указывал определенного места касательно своего погребения, возлагая это на волю Божию, но с другой стороны незадолго до смерти в беседе с одним иеромонахом Седмиезерной пустыни он выражал желание снова поехать в Седмиезерную обитель, если на принятие его туда будет дано согласие всей братии, то представилось затруднительным выбрать место погребения для усопшего старца. Ввиду этого в рапорте архиепископу о смерти и месте погребения почившего было указано два возможных

места для погребения с возложением упования на волю Божию, которая должна была сказаться через волю архиепископа.

Архиепископ благословил совершить погребение в Седмиезерной пустыни. Вскоре затем пришла телеграмма от Ее Высочества с просьбой устроить погребение так, чтобы с течением времени прах почившего можно было перевезти в Елеазарову пустынь, так как выражение подобного желания нисколько не противоречило погребению в Седмиезерной пустыни. Но на другой день были получены телеграммы от Ее Высочества на имя игумении Варвары с выражением желания, чтобы почивший был погребен в устроенной иждивением Ее Высочества пещерной церкви женского Богородичного монастыря. Однако в тот момент, когда вопрос о месте нового погребения старца был близок к окончательному разрешению, келейник батюшки категорически заявил, что усопший ни в коем случае не желал быть положенным в женском монастыре, считая это неприличным для схимника, а желал быть обязательно похороненным в мужской обители. Об этом свидетельстве батюшкина келейника решили довести до сведения Ее Высочества, благодаря чему местом погребения

почившего и была окончательно установлена Седмиезерная пустынь. Вскоре затем стали съезжаться к погребению духовные дети почившего. В воскресенье утром к моменту выноса усопшего в академический храм приехал преосвященный Иувеналий, затем приехал отец Иов. Утром в понедельник изволила прибыть Ее Высочество Великая княгиня Елизавета Федоровна, также отец Герасим, а к концу отпевания приехал и отец Гавриил.

Отпевание старца схиархимандрита Гавриила совершали в академической церкви 28 сентября: архиепископ Казанский Иаков, преосвященный Борис Чебоксарский, преосвященный Анатолий Чистопольский (ректор Духовной академии) и преосвященный Иувеналий Каширский; архимандриты: отец Гурий, отец Герман (ректор Вифанской семинарии), отец Иов (смотритель Саратовскаго духовного училища), отец Иоасаф (заведующий миссионерскими курсами в Казани) и, под конец отпевания, отец Гавриил (смотритель Вольского духовного училища); иеромонахи — профессора и студенты Академии, около двадцати священнослужителей. Ее Высочество вместе с несколькими сестрами обители

милосердия изволила стоять не только отпевание, но и всю Божественную литургию. Отпевание совершалось полным чином без каких-либо опущений.

Встречая останки покойного, Седмиезерная пустынь была освещена по-пасхальному; перед ее высокой колокольней горели бочки со смолой, издалека освещая колокольню. На ограде также горели смоляные бочки. Торжественно встреченный гроб почившего на руках братии был внесен в главный храм, где тотчас же началась великая панихида. Наутро в храме, сооруженном трудами старца, была совершена ранняя обедня с великой панихидой, а в главном храме — поздняя литургия архиерейским служением. После великой панихиды, совершенной в главном храме всем собором приехавшей и монастырской братии, останки почившего были изнесены боковыми дверьми храма по направлению к Вознесенской церкви, обнесены кругом алтаря главного храма, а затем, начиная от алтаря церкви, сооруженной старцем, обнесены вокруг всего этого храма, внесены в усыпальницу и благочестно погребены на месте, в свое время указанном усопшим старцем для своей могилы.

Завещание старца схиархимандрита Гавриила духовным детям

Скоро, может быть, я умру... Оставляю вам в наследство великое богатство, для всех неоскудеваемое. Его всем хватит, только пусть пользуются и не сомневаются — будут жить безбедно, кто сумеет его себе присвоить.

1-е) Когда кто почувствует себя грешником и не находит выхода себе, — пусть затворится в келье один, читает Сладчайшему Иисусу Христу канон с акафистом, и плачем утешится уврачеванный...

2-е) Когда кто находится в напастях, каких бы то ни было, пусть читает молебный канон Божией Матери («Многими содержим напастьми...»), и пройдут для него все напасти бесследно, к стыду нападающих на него.

3-е) Когда нуждается кто во внутреннем душеосвящении — пусть читает со вниманием 17-ю кафизму: и откроются ему внутренние очи... последует потребность осуществить то, что в ней написано... возникнет потребность чаще очищать свою совесть исповедью и причащаться Святых Таин Тела и Крови Христовых... явится добродетель

милосердия к другим, чтобы не зазирать их, а страдать о них и молиться. Тогда явится и внутренний страх Божий, в котором проявятся для внутреннего ока души те заслуги Спасителя, как Он страдал за нас, любя нас... явится и любовь к Нему благодатная, с силою Святого Духа, Который поставляет нас на все подвиги, научает совершать их и терпеть... В терпении нашем мы увидим и восчувствуем в себе пришествие Царства Божия в силе Его, и воцаримся воедино с Господом и обо́жимся...

Тогда для нас покажется сей мир совсем не тем, каким он нам теперь рисуется. Впрочем, мы его не станем судить, так как судить его будет Иисус Христос, но мы увидим мирскую ложь и грех в нем. Мы увидим и правду, но — только в Спасителе, и будем ее почерпать только в Нем одном.

Ложь! Мы ее видим и не видим... Ложь — это сей век со всеми его прелестями — скоропреходящими, ибо все минует и не воротится... Правда же Христова пребудет во век века. Аминь.

Сохранение святых мощей старца и канонизация

Милостью Божией удалось сохранить мощи преподобного Гавриила, которые почитатели старца смогли вывезти из разоренной безбожниками обители и тем самым спасли их от задуманного поругания. Спасший святые мощи иеросхимонах Серафим хранил их у знакомых монахинь, постоянно опасаясь своего ареста или обыска, и перед приближением кончины передал их казанскому архиерею. Мощи старца Гавриила были положены в ковчежец и сохранялись в крестовом храме архиерейского дома. Среди казанских жителей память о старце была жива, и хотя никто не знал, где находятся мощи старца, православный народ шел к разоренному сохранившемуся храму обители и молился у оскверненной могилы старца Гавриила. В 1991 году по благословению епископа Казанского и Марийского Анастасия была написана икона старца Гавриила для иконостаса Сретенского храма Петропавловского собора города Казани.

25 декабря 1996 года архиепископом Казанским и Татарстанским Анастасием

было получено благословение от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: «Ваше Высокопреосвященство! Синодальной комиссией по канонизации святых рассмотрены предоставленные Вами материалы о подвижнической жизни схиархимандрита Гавриила (Зырянова), старца Седмиезерной пустыни. Вашему Высокопреосвященству благословляется Нами совершить прославление в лике местночтимых святых Казанской епархии преподобного схиархимандрита Гавриила (Зырянова)».

После акта о канонизации старца началось и возрождение поруганной обители — в год прославления старца в обители возобновилась иноческая жизнь. 30 июля 2000 года мощи преподобного старца Гавриила вновь вернулись в его родную обитель. Частица мощей была передана на место его многолетнего подвига — в Спасо-Елеазаровскую пустынь.

Акафист преподобному Гавриилу

Кондак 1

Избранный угодниче Христов и Его Пречистыя Матери неленостный служителю! Теплый о нас молитвенниче к Богу и Его любве образ чудный и совершенный! Приими от нас недостойных подобающую ти похвалу и, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед и скорбей избавляй, да зовем ти: Радуйся, преподобие отче Гавриило, любве Божия источниче неоскудеваемый.

Икос 1

Архангелу тезоименитаго и его житию подобника провиде тя всея твари Зиждитель словесы пророческими: «Се, Мой еси!» Ты же от юности глас сей с Небеси услышав, всем сердцем возлюбил еси Бога возлюбившаго тя, преподобне отче Гаврииле. Сего ради зовем ти: Радуйся, от юности Богом избранный; Радуйся, в гражданство Небесное званный; Радуйся, мира сего красоту ни во чтоже вменивый; Радуйся, ангельское житие измлада возлюбивый; Радуйся, иго Христово верно восприявый;

Радуйся, благодать онаго житием оправдавый; Радуйся, издетска образ молитвы слезныя; Радуйся, родителей благочестивых отрасль боголюбезная; Радуйся, преподобие отче Гаврииле, любве Божия источниче неоскудеваемый.

Кондак 2

Видев красоту Божественнаго видения, осенившаго тя благодатию Духа Святаго, родителей твоих удивил еси, не их чадом ся называя, но Божиим. Темже усердно последовал еси Своим тя Назвавшему, непрестанно взывая к Нему: Аллилуиа.

Икос 2

Разумом богопросвещенным постиг суету и непостоянство мира сего, преподобие Гаврииле, от юности твоея вечных благ возжелал еси и сотворил себе обиталище Святаго Духа. Мы же творим тебе пение сицевое: Радуйся, воздержанию от юности себе обучивый; Радуйся, постом и молитвою стрелы лукаваго до конца отразивый; Радуйся, сподобивыйся Божественнаго призвания; Радуйся, удостоивыйся от Господа

оправдания; Радуйся, Христа Бога всем сердцем возлюбивый; Радуйся, яко по заповедем Его право ходивый; Радуйся, бранею праведности облеченный; Радуйся, светом боговедения просвещенный; Радуйся, преподобие отче Гавриилe, любве Божия источниче неоскудеваемый.

Кондак 3

Силою свыше от раны своея избавлен был еси, преподобие Гавриилe, в немощи праведному Симеону Верхотурскому помолився, и его молитвами исцелився пел еси Богу, Дивному во святых Своих: Аллилуиа.

Икос 3

Идущу тебе во обитель Верхотурскую издалеча ко многоцелебным мощем угодника Божия во исполнение обета, ему данного, узрел еси святаго в виде странника дивнаго. Милостыню же ему сотворив, услышал еси от него: «Монах будеши, схимник будеши, зде будеши». Мы же, дивящеся Божию о тебе благоволению, зовем ти: Радуйся, всего себя водительству Божию предавый; Радуйся, узкий

и прискорбный путь монашескаго жития Его волею избравый; Радуйся, древних подвижников усердный соревнителю; Радуйся, добродетелей христианских рачителю; Радуйся, молитвами праведнаго Симеона исцеленный; Радуйся, в монашестве его предстательством предвосхищенный; Радуйся, любве ради Господа отечество оставивый; Радуйся, к воздержанному житию себе от юности наставивый; Радуйся, преподобие отче Гаврииле, любве Божия источниче неоскудеваемый.

Кондак 4

Бурею сомнений смутився и родительскаго гнева убоявся, яко класы хлебныя градом уязвленныя увеща отца оставити, у Самаго Бога испросити изобилия нивы дерзнул еси. Услышав же громоподобный глас с Небеси и зря велия дары Божия, воспе Ему: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша велие житие Богомудрых отцев и старцев Оптиной пустыни и благочестию

их подражати желая, благословения родительскаго испросил еси, отче преподобие. Они же, смирению твоему дивящеся, благословиша тя на тесный путь иноческаго жития. Мы же, восхваляюще твое благое изволение, поем ти: Радуйся, любовь велию к Богу показавый; Радуйся, в силе Его преспевавый; Радуйся, любовию божественною распаленный; Радуйся, образом жития отцев пустынных плененный; Радуйся, преподобным Амвросием благословенный; Радуйся, старцем Мелхиседеком от уныния и скорбей огражденный; Радуйся, пустыннолюбцев в искании Бога усердный сподвижниче; Радуйся, за враги своя и за вся теплейший молитвенниче; Радуйся, преподобие отче Гаврииле, любве Божия источниче неоскудеваемый.

Кондак 5

Боготечная великая светила, сияющия в пустыни Оптиной, облисташа тя, отрасль благую, ты же, духовным учителем подражая незлобием и кротостью, возсиял еси новою звездою и вкупе с ними взывал еси Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видел еси со скорбию, яко игумен иноческаго пострижения тя лишает, обаче не возможе то поколебати крепости произволения твоего. Ты же, старческаго благословения испросив, во град Москву пришел еси. Мы же, видяще тя тяжкий крест на себе сим возложившаго, поем ти: Радуйся, не ради риз, но покаяния ради монашество приемый; Радуйся, сладости плотския богомудре презревый; Радуйся, братолюбия прилежный строителю; Радуйся, постнически испытавый в Московских обителех; Радуйся, таланты своя в земли не сокрывый; Радуйся, сети тщеславия и гордыни сокрушивый; Радуйся, унывающих столпе утешения; Радуйся, монашествующим образе терпения; Радуйся, преподобне отче Гавриила, любве Божия источниче неоскудеваемый.

Кондак 6

Проповедует стольный град Москва труды твоя и подвиги, богомудре Гавриле, идеже во двою обителех потрудился еси, да нововачальному монашеству образ древнеотеческий будеши, научающий братию достойно воспевати Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси от Уральския страны яко светило светозарное, преподобне отче, светом богопросвещенным освящая обителей множество. Посреде же них и Раифская пустынь, идеже священства удостоился еси. О сем тя ублажающе, воспеваем ти сице: Радуйся, хранителю старческих повелений; Радуйся, сопричастниче тайных откровений; Радуйся, восприявый древних отец следы; Радуйся, на зловерныя и враждотворцы от Бога получив победы; Радуйся, яко тобою зависть попирается; Радуйся, яко молитвами твоими к Богородице бесы изгоняются; Радуйся, в любви Христу дивный подражателю; Радуйся, тоя яко единаго богатства стяжателю; Радуйся, преподобне отче Гаврииле, любве Божия источниче неоскудеваемый.

Кондак 7

Хотя верен быти подражатель Агнца Божия, кротость и смирение Его себе усвоив, от завистных человек всякия обиды и скорби безропотно претерпел еси, егда из обители во град Казань удален бе; но ведый, яко скорбьми

временными подается вечное спасение, взывал еси Спасу всех: Аллилуиа.

Икос 7

Новым повелением архиереовым стопы своя направил еси, отче присноблаженне, в пустынь при седми езерах, идеже Пресвятыя Богородицы чудотворный образ стояше. Ты же, прославляя Ю, и обитель сию, паче прежняго прославил еси, егда поставлен бысть архимандритом тамо. Мы же тя прославляем сице: Радуйся, крине благоуханный пустыннаго прозябения; Радуйся, Божия Матери чадо возлюбленное и верное; Радуйся, Ея почитателю непоколебимый и благоусердный; Радуйся, союзом добродетелей удобренный; Радуйся, пустыни Седмиезерской благоукрасителю; Радуйся, иноческих подвигов ревнителю; Радуйся, путем к Небеси Боголюбие избравый; Радуйся, в злостраданиих смирением вся поправый; Радуйся, преподобие отче Гавриле, любве Божия источниче неоскудеваемый.

Кондак 8

Страшный недуг порази тя, отче преподобие, имже на одре болезни пять лет держи-

мо бе многострадальное тело твое, якоже иногда и души от него разлучатися. Ты же, прославление преподобнаго Серафима предвосхищая, к помощи его в немощи взывал еси. По исцелении же образ его на немже идеже Мати Божия со мученики чудотворцу Саровскому явися, написа, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Всего себе предал еси воздвижению новаго храма, преподобный отче, по приятии великия схимы помышляя, яко в храме сем по всем усопшим непрестанно Псалтирь чтома будет. В нем же литургисая, узрел еси светозарное видение всех святых, молящихся у Престола Владыки, Себе Самаго в жертву приносяща за ны, поющия Тебе: Радуйся, созерцателю лучезарнаго Божественнаго видения; Радуйся, всех святых увидевый пред Господом на молении; Радуйся, благоволением Богоматере осененный; Радуйся, боголюбче, дарами свыше одаренный; Радуйся, равную любовь к ближним живым и почившим простиравый; Радуйся, храм для неусыпнаго чтения Псалтири создавый; Радуйся, яко ничтоже имея ко строению, подвижеся к оному, на Бога уповая; Радуйся, яко

по благословении архипастыря чудно создася церковное здание; Радуйся, преподобие отче Гаврииле, любве Божия источниче неоскудеваемый.

Кондак 9

Все множество человеческое удивися еже на земли во плоти твоему терпению и незлобию, преподобие отче, егда непорочна и праведна тя зряще и о благочестии ревнующа возмутишася против тебе братия законопреступная хотяща убити тя. Ты же, моля Господа, взывал еси Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Велие твое терпение и теплую ко Христу любовь никтоже по достоянию поведати возможет, еда бесовским обещаниям угождая, изгнаша тя из обители клеветы ради, преподобие отче Гаврииле. Ты же пресели во Спасову обитель в пределех Псковских, идеже премного потрудился еси. Мы же, волю Божию в сем разумевающе, поем ти: Радуйся, правило благочестия и веры; Радуйся, за оныя поношения и изгнания претерпевый; Радуйся, от братии

поруганный, бесчестие в почесть себе вменивый; Радуйся, козни нечестивых человек смирением победивый; Радуйся, потоками слез спасительных орошенный; Радуйся, истиннаго незлобия и братолюбия образ совершенный; Радуйся, чашу поругания, яко врачевство чистительное, испивший; Радуйся, за ненавидящих тя с любовию Господа моливший; Радуйся, преподобие отче Гаврииле, любве Божия источниче неоскудеваемый.

Кондак 10

Хотящу ти спасти чада твоя, к тебе во множестве притекающая и предвидящу тебе годину лихолетия и на Церковь Христову гонения, ихже своим житием изобразил еси, любовь ко Господу яко корень всех благих заповедал еси им имети и тако претерпевати вся, до конца взывающе Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стены Стасовы обители не возмогоша укрыти тя отче Гаврииле, мнози бо видяху тя равноангельна житием и прихождаху

к тебе; слышавше же глаголы жизни вечныя, прославиша духовныя твоя подвиги во многих градах и весех Российских. Тем же и мы чествуем тя сими похвальными словесы: Радуйся, великия княгини Елисаветы духовный наставниче; Радуйся, архипастырем и пастырем тихое и верное пристанище; Радуйся, иночествующим помощниче богомудрый и скорый; Радуйся, чадом своим и нам путеводителю на неудобовосходимыя горы; Радуйся, вослед себе собор учеников ко Христу приведый; Радуйся, с ними, яко отец со чады, прияти мзду Небесную к Нему возшедый; Радуйся, слезами твоими землю и воды наша освятивый; Радуйся, житием своим будущия скорби Церкви Русския изобразивый; Радуйся, преподобие отче Гавриле, любве Божия источниче неоскудеваемый.

Кондак 11

Пение всякое не довлеет к похвале твоей, отче преподобие, кто бо возможет по достоянию прославити многотрудное житие твое или восхвалите подвиги твоя? Токмо видяще тя паки, аще бо и в час смертный, людие града Казани плачуще взываша к Призывающему тя: Аллилуиа.

Икос 11

Светильника тя добрых дел, преподобие, исповедуем быти, яко теплыми молитвами ко Христу Богу и Пречистой Его Матери, о граде нашем и обители твоей ныне пред Ними ходатайствуеши и светом Божественныя любве согреваеши души и сердца приходящим к тебе и поющим тебе сице: Радуйся, светильниче Божественного света; Радуйся, молитвенниче усердный к Богу и Его Матери Всепетой; Радуйся, боголюбче, еще на земли созерцавый Свет Небесный; Радуйся, ради онаго избравый путь тяжкий и тесный; Радуйся, почитающим святую память твою Небесный покровителю; Радуйся, в горния обители нам путеводителю; Радуйся, вестниче любве Божия, к примирению с Господом всех призываяй; Радуйся, подвигом веры в любви к Нему нас укрепляяй; Радуйся, преподобие отче Гаврииле, любве Божия источниче неоскудеваемый.

Кондак 12

Благодати Божия светлое жилище быв в житии твоем, преподобие отче Гаврииле, и по смерти не оставлявши нас твоим предстательством пред

Господом, научая и ныне учащихся, како подобает идти тесным путем спасения, прославляя, благодаря и взывая Ему: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твоя труды и подвиги, ублажаем тя, дивный старче, яко аще и преставился еси от нас, но жив сый и предстоя духом твоим пред Богом, ходатайствуеши за ны. Мы же, предстояще раце многоцелебных мощей твоих, прославляем тя: Радуйся, Российския земли духовное укрепление; Радуйся, граду Казани похвало и утверждение; Радуйся, Ангелов и всех святых собеседниче; Радуйся, Царствия Христова наследниче; Радуйся, молитвенниче за ны неусыпный; Радуйся, предстателю о нас непостыдный; Радуйся, яко на Небеси Богоначальную Троицу зриши; Радуйся, яко оставив мощи твоя на земли всем помощь твориши; Радуйся, преподобие отче Гаврииле, любве Божия источниче неоскудеваемый.

Кондак 13

О пречудный старче, преподобие отче наш Гаврииле! Приими малую сию похвалу от

недостойных и неразумных чад твоих. Присно моли о нас Пречистую Богородицу, яко пред честным Ея образом изливал еси слез потоки прося мира отечеству нашему, здравия и спасения всем живущим в нем. И ныне Сыну Ея Христу Богу нашему возноси молитвы и о нас, чтущих память Твою и вкупе с тобою поющих Ему: Аллилуиа.

Молитва преподобному Гаврилу

О преподобие и богоносне отче наш, всечестный старче Гавриилe, отцев славо и праведных похвало! Во дни земнаго жития твоего в Спасовой и Богородичной обителех многия на путь правый наставивый, падшым руку помощи подавый, всем милостив и сострадателен отец бывый и новых мучеников Церкви Святой воспитавый! Ты и ныне, всеблаженный старче, в небесней пребывая обители, паче умножавши любовь твою к нам, грешным и недостойным чадом твоим, искушаемым злобою, унынием и неправдою. Сего ради к цельбоносным мощем твоим припадаем и смиренно молим тя: не премолчи за ны ко Господу и не презри нас, верою и любовию чтущих тя и поминающих святую память твою, буди нам помощник скорый

во всяких скорбех, бедах и напастех, соблюди нас от всех видимых и невидимых враг, отжени от нас облак страстей и просвети наши очи сердечныя, исходатайствуй нам здравие душевное и телесное, не забуди нас и в час кончины нашея, егда наипаче твоего заступления смиренно потребуем. Испроси нам у Господа Бога нашего в мире и покаянии скончати живот наш, от мытарств и вечныя муки избавитися и сподобитися Царства Небеснаго с тобою и чадами твоими духовными, во страданиих своих венцы приявшими нетленныя, и со всеми святыми, от века благоугодившими Господу и Богу нашему Иисусу Христу, Емуже подобает всякая честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

От юности, богомудре, просветився любовью Христовою, суетный и многомятежный мир оставил еси. Житие свое вверя предстательству Пречистыя Богородицы, слез потоки изливал еси пред честным Ея образом, и теченьми их седьм езер освятил еси. И терпения ради украси

тя небесными дарами Христос Бог наш, в чудесех и ученицех славна показа земле Казанской.

Ин тропарь, глас 4

Подвижник, яко един от древних, совершенство стяжал еси во многих скорбех, благодатными дары украшен быв обильно, новых мучеников воспитал еси Богу. Заступи нас и ныне молитвами твоими, Преподобие отче Гавриле, старче наш.

Кондак, глас 5

Претерпел еси скорби и наветы вражии благодушно, кротостью, любовью и смирением побеждати зло научал еси, теплою молитвою со слезами предстоял еси Господу, созерцая тайная и будущая, яко настоящая, преподобие отче Гаврииле, не остави чад твоих усердным и скорым к Богу ходатайством.

Ин кондак, глас 2

Старчества явился еси доброе прозябение, блаженне, житие свое исполнил еси

терпением, постом и молитвами. Прозорливости и исцеления дары стяжал еси, и учеником своим проложи путь в Небесные селения. И ныне тамо молиши Христа Бога о всех зовущих ти: радуйся, преподобие отче Гавриилe, сосуде Святаго Духа, всея Казанския земли украшение.

Молитва схиархимандрита Гавриила (Зырянова), читаемая в болезни[1]

О Пресвятая Богородице Дево, жива сущая и по смерти спасающая присно наследие Твое, услыши воздыхание души моей, призывающей Тебя на помощь!

Сниди с небесе, приниди и коснися ума и сердца моего, открой зрение души моея, да узрю Тя, Госпоже моя, и Сына Твоего, Создателя, Христа и Бога моего, и уразумею, что есть воля Его и чего лишаюся аз.

Ей, Госпоже моя, потщися помощью Твоею и моли Сына твего, да присетит мя благодатию Своею, да в любви Его прикованный у ног Его пребуду во веки, аще в ранах и болезни, аще недугующий и расслабленный телом, но у ног Его.

К Тебе взываю, Господи Иисусе! Ты моя радость, жизнь, здравие, радость паче мира радости, весь состав жизни моея. Ты еси Свет паче всякого света.

Вижу недвижное от болезни тело мое, чувствую расслабление всех членов моих, боли в костях моих.

---

[1] Записана епископом Варнавой (Беляевым). Опубликована на сайте: Исихазм.ру.

Но, о Свете мой! Да как услаждают меня лучи света Твоего, падающие на раны мои!

Согретый теплотою их, забываю все и у ног Твоих слезами моими омываю грехи мои, возвышаюся, светлеюся. Сие едино прошу у Тебя, Иисусе мой: не отврати лица Твоего от меня, дай мне вечно у ног Твоих радостно оплакивать грехи мои, ибо при виде Тебя, Господи, покаяние и слезы для меня усладительнее радостей всего мира.

О Свете, Радость моя, Сладость моя, Иисусе!

Не отрини же меня от ног Твоих, Иисусе мой, но по молитве моей со мной присно буди, да живя Тобою, славлю Тя со Отцем и Духом во веки.

Молитвами Богородицы и всех святых Твоих услыши мя, Господи.

Аминь.

Об авторе «Жизнеописания схиархимандрита Гавриила (Зырянова)» архимандрите Симеоне (Холмогорове)

Симеон, в схиме Даниил (Холмогоров Михаил Михайлович), архмандрит. Родился в 1874 году. В 1899 году поступил в Казанскую Духовную академию. Духовную академию отец Симеон окончил в со степенью кандидата богословия. Затем в течение года состоял профессорским стипендиатом по кафедре патрологии. 10 августа 1904 года был определен преподавателем в Оренбургскую духовную семинарию. В начале 1906 года указом Св. Синода он был назначен на должность инспектора Тамбовской семинарии. В то время Тамбовская семинария, как и многие другие, была охвачена революционными настроениями. 2 мая 1906 года было совершено покушение на жизнь отца ректора архимандрита Феодора. В него стрелял из револьвера воспитанник первого класса Владимир Грибоедов.

---

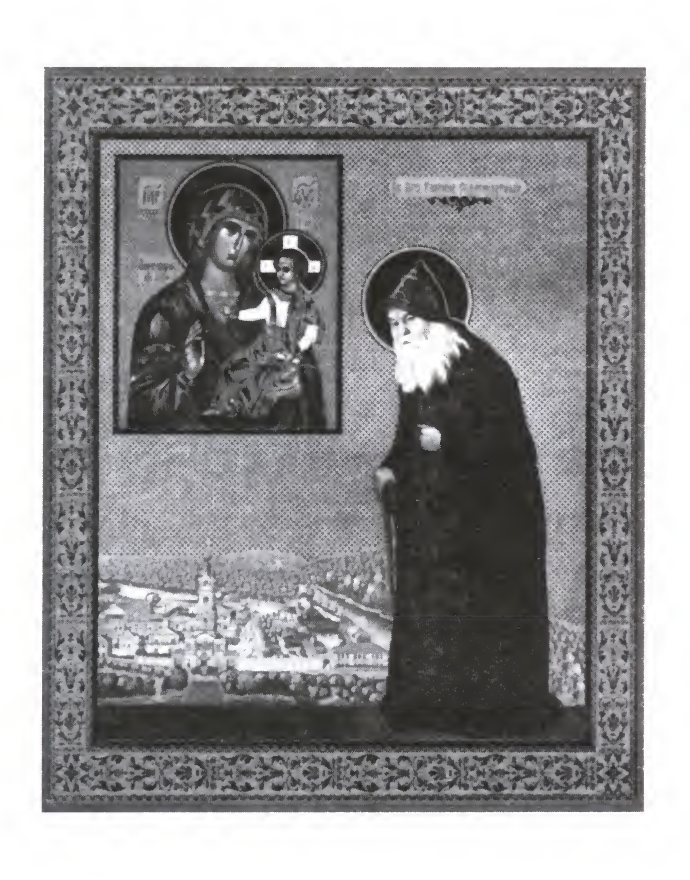
[1] По изданию: Журнал «Даниловский благовестник», вып. 10, 1999. С. 43–51.

К счастью, отец Феодор остался жив. 21 августа 1906 года он был переведен на должность ректора Московскую духовную семинарию. 4 ноября 1906 года ректором Тамбовской семинарии назначается отец Симеон. 19 ноября епископом Тамбовским Иннокентием он был возведен в сан архимандрита.

7 апреля 1907 года жертвой нового покушения революционно настроенных семинаристов стал архимандрит Симеон, и вследствие ранения остался парализованным на всю жизнь. После больницы был зачислен в братию Седмиезерной пустыни. После перевода старца Гавриила в Спасо-Елеазарову пустынь он последовал за старцем и жил рядом со своим духовным отцом в монастырской богадельне. Жизнь отца Семеона была наполнена постоянными мучительными болями. Любвеобильный старец Гавриил по-матерински заботился о своем духовном сыне; близкое общение со старцем в эти годы не только поддержало его дух, но возвысило горé. Отец Семеон, сам будучи подвижником, смог составить прекрасное жизнеописание старца, которое не раз переиздавалось и ныне публикуется в этой книге. После смерти старца Гавриила

в 1915 году отца Семеона принял на свое иждивенит архиепископ Феодор (Поздеевский), также верный духовный сын старца Гавриила, и он стал фактически его неразлучным сокелейником. Когда 1 мая 1917 года архиепископ Феодор был назначен настоятелем Данилова монастыря, отец Симеон последовал за ним. В монастыре он пользовался всеобщей симпатией и уважением богомольцев, многие его почитали за старца. В 1930 году Даниловскую обитель закрыли, отца Семеона приняли на жительство даниловские прихожане. Когда Владыка Феодор (Поздеевский) уехал на жительство во Владимир, скрываясь от властей, он написал в Москву, чтобы отец Симеон приезжал к нему. Так батюшка переехал во Владимир. Весной 1936 года в связи с начавшимися во Владимире массовыми арестами отец Симеон переехал в Киржач, где, вероятно, принял схиму с именем Даниил. 29 декабря 1936 года отец Симеон был арестован у себя на квартире вместе с келейниками: Михаилом (Карелиным), монахиней Серафимой (Виноградской) и послушницей Александрой Туловской. Он содержался во Владимирской тюрьме, тогда как все арестованные с ним в Киржаче были

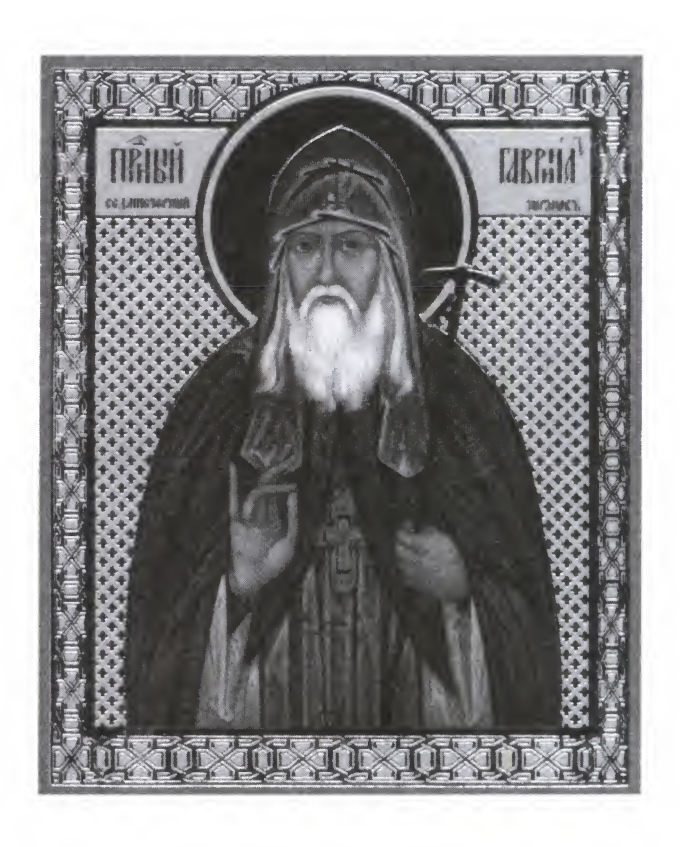
сразу переведены в Ивановскую тюрьму. В сентябре 1937 года отец Симеон был осужден как «руководитель подпольной к/р организации церковников и монашества «Иноческое братство князя Даниила». 9 сентября 1937 года расстрелян в Ивановской тюрьме.



Преподобный Гавриил (Зырянов). Благословение Седмиезерной Казанской Богородицкой пустыни

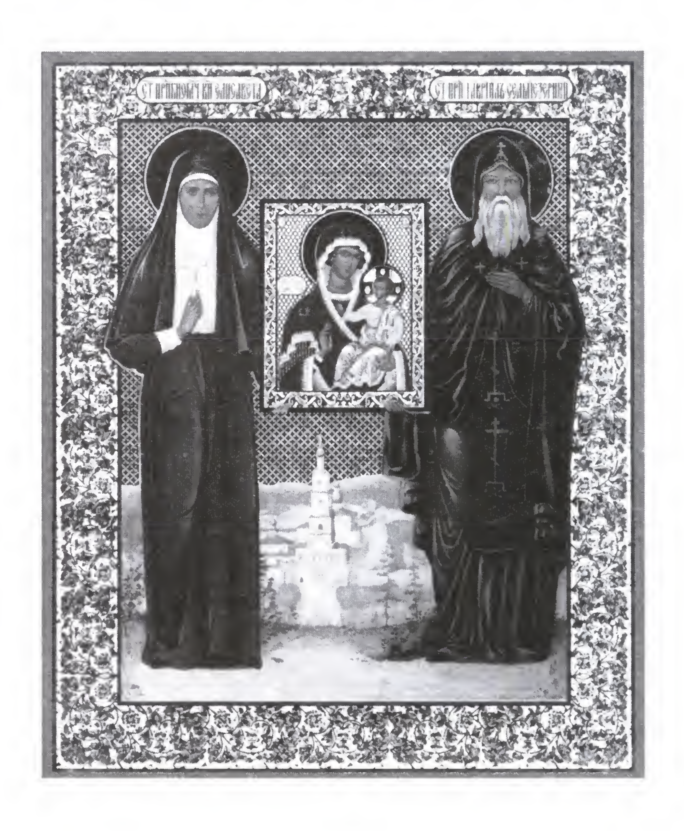
*Преподобный Гавриил (Зырянов)
в сане архимандрита*

Неизвестный художник. Живописный портрет старца Гавриила



Икона прп. Гавриила, написанаая
ко дню канонизации в 1997 году

Старец Гавриил в схимническом облачении



*Икона прп. Гавриила и прпмц. Елизаветы
с образом Божией Матери «Седмиезерская»*

Храм Трех Святителей в Спасо-Елеазаровском монастыре

Рака с мощами прп. Гавриила в Спасо-Елеазаровском монастыре

Царьградская икона Божией Матери, особо почитаемая в Спасо-Елеазаровском монастыре

Содержание

1200

Архимандрит Симеон (Холмогоров)

Един от древних

Преподобный старец Гавриил (Зырянов)

Жизнеописание. Прославление. Акафист

Редактор Л. А. Ильюнина
Корректор и технический редактор Р. Б. Рудницкий

Подписано в печать 05.12.2011 Формат 70x100/32
Гарнитура GaramondBookC. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Физ. печ. л. 9. Усл. печ. л. 11,7.
Доп. тираж 1000 экз. Заказ № 563

Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфическое
предприятие «Искусство России»
Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп.2

Един от древних. Преподобный старец Гавриил